Literatura i marksizm

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВОЗНАНИЯ (ГАИС)

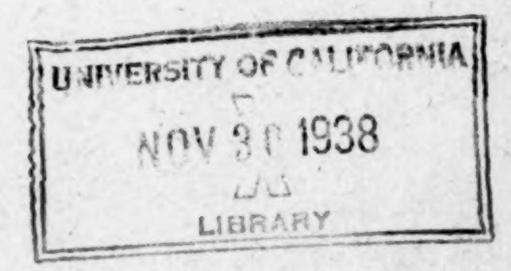
ЛИТЕРАТУРА И МАРКСИЗМ

Журнал теории и истории литературы

1931 : 6

КНИГА ШЕСТАЯ





СЕКТОР НАУКИ НАРКОМПРОСА

Государственное издательство художественной литературы

1931

СОДЕРЖАНИЕ

Адрес редакции: Москва, Тверская, 35, тел. 2-59-49

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВОЗНАНИЯ (ГАИС)

IV год издания IV год издания

ЛИТЕРАТУРА
И
МАРКСИЗМ

Под общей редакцией
П. И. ЛЕБЕДЕВА-ПОЛЯНСКОГО

КНИГА ШЕСТАЯ

СЕКТОР НАУКИ НАРКОМПРОСА

Государственное издательство художественной литературы
1 9 3 1

Мособлполиграф.
13-я типо-цинкография
Мысль Печатника
Москва, Б. Дмитровка, 26.
Уполн. главлита Б—15367.
Заказ 3469. Тираж 5.500.
8 п. л. 39.900 зн. в л. Сд. в наб. 30|XI.
Подп. к печати 10|I—32 г.
Выпуск. М. Соколова.

Валерьян Полянский

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА[1]

III

В «Темном царстве» критик, давая тщательный анализ самодурства, выясняя его корни, его влияние, его последствия, поднялся до величайшего социального обобщения, дав «темное царство» как символ самодержавно-крепостнического строя. В статье «Луч света в темном царстве» критик обстоятельнейшим образом показывает, как жизненные условия вызвали характер Катерины, как этот характер складывался; критик доказывает, что этот характер сильный, героический, новый; он может сломиться, погибнуть, но не подчиниться, он в своей борьбе не остановится ни перед чем. Особенно важно то, что критик вскрыл, как Островский в образе Катерины собрал воедино отдельные черты характеров «угнетенной партии», черты глубоко жизненные и необходимые в борьбе.

Добролюбов не раз пытается классифицировать литературных героев с точки зрения их общественной роли и значения. Говоря о либералах, о лишних людях, он построил ряд: Онегин, Тентетников, Печорин, Бельтов, Лежнев, Рудин, Обломов, указав, что разница между этими людьми в социальном возрасте, но не в их общественной сущности. Отыскивая и характеризуя людей дела, людей нового времени, которые сумели бы вывести народ из топких, ржавых болот самодержавия, он строит второй ряд: Штольц, Ольга, Елена, Катерина, Инсаров. О социальных основах первого ряда мы уже говорили. В основу второго ряда Добролюбов положил следующее основное соображение: герои этого ряда в своей деятельности руководятся не отвлеченными принципами, не мгновенным пафосом, а своею натурою, всем существом своим. В цельности их характера — их сила, особенно если учесть, что старые, дикие отношения расшатываются, внутренняя связь их исчезает, теряется и держатся они преимущественно механическою связью.

---

[1] См. «Литература и марксизм» 1931 г., кн. V, стр. 3—31.

Говоря об отвлеченных принципах и пафосе, критик, конечно, имел в виду героев первого ряда. Он клеймит их, издевается над ними при всякой возможности. Касаясь характера Тихона, безвольного, забитого, но утешающего себя, что «он тоже мужчина», Добролюбов вставляет ряд злых фраз: «нынче еще можно встретить множество Тихонов, если не вином, то какими-нибудь рассуждениями и спичами отводящих душу в шуме словесных оргий... Ясно, что от подобных людей и замашек никогда не могло и не может ничего выйти». Под множеством Тихонов Добролюбов имеет в виду все тех же героев первого ряда, все тех же либералов, о которых он так ярко писал при разборе романа Гончарова.

Обрекая на социальную смерть героев первого ряда, видя торжество людей второго ряда, Добролюбов пишет: «русская жизнь дошла, наконец, до того, что добродетельные и почтенные, но слабые и безразличные существа не удовлетворяют общественного сознания и признаются никуда негодными. Почувствовалась неотлагаемая потребность в людях, хотя бы и менее прекрасных, но более деятельных и энергичных. Иначе и невозможно: как скоро сознание правды и права, здравый смысл проснулись в людях, они непременно требуют не только отвлеченного с ними согласия, которым так блистали всегда добродетельные герои прежнего времени, но и внесения их в жизнь и деятельность.

Но, чтобы внести их в жизнь, надо побороть много препятствий, представляемых Дикими, Кабановыми и т. п.; для преодоления нужны характеры предприимчивые, решительные, настойчивые. Нужно, чтобы в них воплотилось, с ними слилось то общее требование правды и права, которое, наконец, прорывается в людях сквозь все преграды, поставляемые Диким-самодурами» [36].

Второй ряд как раз и состоит из людей дела, из людей «натуры», «цельности и гармонии характера». Однако второй ряд не представляет той цельности и стройности, как первый ряд. Люди дела, эти грядущие герои жизни, ее строители, еще не представляют цельного характера: они носят в себе какую-либо одну черту, нужную для характера людей нового поколения. Добролюбов так и пишет: «в жизни есть отдельные чарты характера, необходимого для борьбы, но не было еще героев, которые могли бы служить представителями того общественного движения, которое чувствуется уже теперь» [37]... Добролюбов не обвиняет своих героев, но объясняет, что жизнь в своем развитии еще не пришла в такое состояние, когда явятся цельные, сильные личности. Героев второго ряда он рассматривает как попытку художников-писателей создать наиболее цельный характер людей дела и борь-

---

[36] Том IV, стр. 316.
[37] Том IV, стр. 321.

бы. Сам он ими не удовлетворен. О Штольце он бросает резкое замечание, что из этого дельца не может выйти общественного деятеля. Ему ясно также, что ни Ольга, ни Елена не являются теми героями, которые могли бы с полным успехом защищать интересы «угнетенной партии», да и она не может на них положиться целиком, с полным доверием. Елена, выйдя из дворянской среды и не зная нужд народа, не сумела найти себе живого дела в России, а связала свою судьбу с иностранцем и погибла за границей. Довольно иронически критик отзывается и об Инсарове. Это человек — «бросающий немца в воду, не соглашающийся жить даром в гостях на даче у приятеля и даже решающийся жениться на любимой девушке!!»[38]. Ирония сквозит в каждом слове. И только Катерина имеет цельный характер, «которым совершится решительный разрыв с старыми, нелепыми отношениями жизни», тот характер, который нужен для серьезной, решительной революционной борьбы. Конечно, Добролюбов понимает, что Катерина не завершение революционного характера, а только основа, но это нисколько не мешает ему заявить, что «Гроза» «есть именно художественное соединение однородных черт, проявляющихся в разных положениях русской жизни, но служащих выражением одной цели». Этим велика заслуга Островского, этим громадно общественное значение «Грозы», этим близка Добролюбову, революционеру, демократу и социалисту, Катерина.

Добролюбов восторгается Катериной не только потому, что она цельный революционный характер, какого еще не было в литературе, но еще и потому, что этот характер выделила сама «угнетенная партия». Катерина — революционная сила, идущая с низов, из среды угнетенных и замученных. Катерина первая решительно протестует против упрямого самодурства. Показывая, как жизнь создает и выдвигает характеры типа Катерины, критик убеждал читателя, что будущее народа в его собственных руках, что он должен полагаться на свои классовые силы, а не на силы других классов, разговаривающих о благе народа. Этим он поворачивал общественные симпатии от людей сороковых годов, от либералов, к людям нового поколения, к разночинцам-демократам. Словом, он перестраивал ряды революционной борьбы.

Нанося удар за ударом прошлым руководителям борьбы за интересы народа, Добролюбов пишет:

«Катерина может быть уподоблена большой, многоводной реке: она течет, как требует ее природное свойство; характер ее течения изменяется сообразно с местностью, через которую она проходит, но течение не останавливается; ровное дно, хорошее — она течет спокойно, камни большие встретились — льется каскадом, запружают ее — она бушует и прорывается в другом месте.

[38] Том IV, стр. 317.

Не потому бурлит она, чтобы воде вдруг захотелось пошутить или рассердиться на препятствия, а просто потому, что ей необходимо для выполнения ее естественных требований, — для дальнейшего течения. Мы знаем, что он (характер Катерины — В. П.) выдержит себя, несмотря ни на какие препятствия, а когда сил не хватит, то погибнет, но не изменит себе. Высокие ораторы правы: претендующие на «отречение от себя для великой идеи» весьма часто оканчивают тем, что отступают от своего служения, говоря, что борьба со злом еще слишком безнадежна, что повела бы только к напрасной гибели, и пр. Они справедливы, и нельзя их упрекать в малодушии; но во всяком случае нельзя не видеть в этом, что «идея», которой они хотят служить, составляет для них что-то внешнее, без чего они могут обойтись, что они умеют хорошо отделить от своих личных прямых потребностей. Ясно, что как бы ни был велик их азарт в пользу идеи, он всегда будет гораздо слабее и ниже того простого, инстинктивного, неотразимого влечения, которое управляет поступками личностей вроде Катерины, даже и не думающих ни о каких высоких «идеях» [39].

Катерина выше не только героев первого ряда, так политически скомпрометированных критиком. Она занимает первое место и во втором ряду. Правда, как увидим ниже, Добролюбов, несмотря на отмеченную нами иронию, очень высоко ставит Инсарова, но Инсаров не русский, он иностранец, он болгарин; русская жизнь скоро выдвинет своих Инсаровых, но пока она их еще не выдвинула. Русские Инсаровы — это те же Катерины, но имеющие больший социальный возраст, больший опыт, большие знания. Это люди одной классовой группы, люди народа. Они, как Катерина, пойдут на все, пойдут на смерть. Им чужды соглашательство и компромисс с существующим положением дел, они не только говорят о благе народа, но борются за народ, за свою жизнь без всяких красивых гуманных фраз о благе народа и самопожертвовании.

Итак дело народа должно быть делом самого народа, а не привилегированных классов общества. Катерина — первый сильный героический представитель народа в борьбе за его классовые интересы. Добролюбов прекрасно понял, что Островский сумел «создать такое лицо, которое служит представителем великой народной идеи, не нося великих идей ни на языке, ни в голове, самоотверженно идет до конца в неравной борьбе и гибнет, вовсе не обрекая себя на высокое самоотвержение. Ее (Катерины — В. П.) поступки находятся в гармонии с натурой, они для нее естественны, необходимы, она не может от них отказаться, хотя бы это имело самые печальные последствия» [40].

---

[39] Том IV, стр. 342.
[40] Том IV, стр. 341.

Чтобы придать бо́льшую убедительность характеристике таланта Островского, характеру Катерины и своим революционным выводам, Добролюбов обстоятельнейшим образом начинает доказывать жизненную неизбежность и необходимость людей типа Катерины, как действительных борцов за народное дело. Свою аргументацию критик начинает издалека и логически, с учетом жизненных явлений творчества Островского, убеждает, что Катерина неизбежна, как явление, историей вызванное, историей обусловленное.

Сначала критик указывает, что писатели всех народов преданы, главным образом, «искусственным» интересам, интересам эксплоатирующих групп; интересы «естественные», интересы народа им чужды и непонятны. В своем творчестве эти писатели не лгут, но, поскольку они не учитывают и не могут учесть «естественных» интересов «человеческой природы», как выражается критик, их произведения неизбежно ложны. В жизни, однако, «естественные» стремления начинают о себе заявлять. Отражение этого появляется в художественной литературе. Поэтому задача критики состоит в том, чтобы «определить, стоит ли автор в уровень с теми естественными стремлениями, которые уже пробудились в народе или должны скоро пробудиться по требованию современного порядка дел; затем — в какой мере он умел их понять и выразить и взял ли он существо дела, корень его или только внешность, обнял ли общность предмета или только некоторые его стороны» [41]. Естественные же стремления критик, как известно, сводит к краткой формуле: «чтобы всем было хорошо». Заслугу Островского критик видит в том, что он в своих комедиях «очень полно и многосторонне умел изображать существенные стороны и требования русской жизни». Островский во всех житейских мелочах показал «темное царство», русскую действительность, самодержавно-крепостнический строй; он же показал и подтачивающие его, внутри его развивающиеся противоречия; показал, как сам отмирающий строй вызвал к жизни характер Катерины и как этот характер развился и окреп. Добролюбов доказывает, что жизнь, изображенная Островским, «заключает в себе задатки более разумного, законного, правильного порядка дел... Стремление к новому, более естественному устройству отношений заключает в себе сущность всего, что мы называем прогрессом, составляет задачу нашего развития, поглощает всю работу новых поколений» [42]. Правда, у Островского не всегда это резко выступает на первый план, не всегда видно сразу, но оно «всегда находилось в корне его произведений». Добролюбов был материалист-фейербахианец, свойственно ему было и

[41] Том IV, стр. 282.
[42] Том IV, стр. 291.

диалектическое мышление, хотя он и был не всегда последователен в этом отношении. Естественно, что он особенно подчеркивает в творчестве драматурга тот момент, что, разрешая историческую задачу, Островский подходил к ней не только с нравственной стороны, но всегда анализировал и освещал «житейскую, экономическую сторону вопроса, а в этом-то и сущность дела». Все это важно было для критика потому, что этой стороной творчества Островского он убеждал, что образ Катерины создан не в силу отвлеченно-нравственных требований автора, а автор его нашел в действительности в будничио-повседневной жизни.

Критик ценит, что драматург, раскрывая «будничную обстановку», показывает, что самодурство есть продукт жизни и времени, что оно исторически неизбежно. Еще больше он ценит то, что драматург показывает исторически неизбежную его гибель, и то, что содержание жизни всецело определяет содержание и характер борьбы, ее силу, характеры борющихся сил. Поскольку «толстая мошна» дает силу самодурству, а «безответственность людей перед ним определяется материальною от него зависимостью», поскольку все это превращает жизнь в «сырую темницу», постольку и борьба дожна начаться с борьбы за средства пропитания и свободу и должна вестись, не останавливаясь ни перед чем, иначе борьба будет безуспешной. Все эти соображения придают увлекающему образу Катерины глубокий жизненный характер не только в основном направлении, но и во всех частных проявлениях. Одновременно критик подчеркивает, что все, кому дороги «естественные» стремления народа, должны итти, как и Катерина, до самого конца, без всяких компромиссов с существующим режимом, не останавливаясь перед смертью. Ибо этой смерти завидуют оставшиеся в живых, ибо эта смерть зовет и вдохновляет на дальнейшую революционную борьбу. Катерина не может существовать, не осуществив своих стремлений полностью, у нее также нет почвы для соглашения с существующим режимом, нет почвы ни идеологической, моральной, ни материальной. Для нее и для всех идущих с ней проблема стоит так: или жизнь, или смерть, среднего нет.

Очень много Добролюбов останавливается на тех моментах в комедиях Островского, где драматург показывает, как само по себе начинает разлагаться, изживать себя «темное царство». Как художник, Островский не вводит экономических выкладок, но он показывает, как вся экономика отражается на быту и как она, поддерживая его, в то же время вызывает к жизни силы, смертельно враждебные ему. Самодержавно-крепостнический строй смутно предчувствует свою гибель. Вскрывая силу и слабость властителей «темного царства», Добролюбов пишет про них: «Но чудное дело! — в своем непререкаемом, беззаветном темном владычестве, давая полную свободу своим прихотям, ставя ни во что вся-

кие законы и логику, самодуры русской жизни начинают, однако же, ощущать какое-то недовольство и страх, сами не зная — перед чем и почему. Все, кажется, попрежнему, все хорошо: Дикой ругает, кого хочет; когда ему говорят: «как это на тебя никто в целом доме угодить не может!» — он самодовольно отвечает: «вот поди ж ты!» Кабанова держит попрежнему в страхе своих детей, заставляет невестку соблюдать все этикеты старины, ест ее как ржа железо, считает себя вполне непогрешимой и убеждается разными Феклушами. А все как-то не спокойно, не хорошо жить. Помимо них, не спросясь их, выросла другая жизнь, с другими началами, и хоть далеко она, еще и не видна хорошенько, но уже дает себя предчувствовать и посылает нехорошие видения темному произволу самодуров. Они ожесточенно ищут своего врага, готовы напуститься на самого невинного, на какого-нибудь Кулигина; но нет ни врага, ни виновного, которого могли бы они уничтожить; закон времени, закон природы и истории берет свое, и тяжело дышут старые Кабановы, чувствуя, что есть сила выше их, которой они одолеть не могут, к которой даже и подступить не знают как. Они не хотят уступать (да никто покамест и не требует уступать от них), но съеживаются, сокращаются; прежде они хотели утвердить свою систему жизни на веки нерушимую, и теперь то же стараются проповедывать, но уже надежда изменяет им, и они в сущности хлопочут только о том, как бы на их век хватило» [43].

«Кабанова очень серьезно огорчается будущностью старых порядков, с которыми она век отжила. Она предвидит конец их, старается поддержать значение их, но уже чувствует, что нет к ним прежнего почтения, что их сохраняют уже неохотно, только поневоле, и что при первой возможности их бросят. Она уже и сама как-то потеряла часть своего рыцарского жара; уже не с прежней энергией заботится она о соблюдении старых обычаев, во многих случаях она уже махнула рукой, поникла пред невозможностью остановить поток и только с отчаянием смотрит, как он затопляет мало-по-малу пестрые цветники ее прихотливых суеверий» [44].

«Для самой Кабанихи и для той старины, которую она защищает, гораздо выгоднее было бы отказаться от некоторых пустых форм и сделать уступки, чтобы удержать сущность дела. Но порода Кабановых не понимает этого: они не дошли даже до того, чтобы представлять или защищать какой-либо принцип вне себя, — они сами принцип, и потому все, касающееся их, они признают абсолютно важным» [45].

Кабаниха «в этом случае гораздо ниже того сорта людей, которых принято называть просвещенными консерваторами.

[43] Том IV, стр. 305.
[44] Том IV, стр. 306.
[45] Том IV, стр. 309.

Те расширяли несколько свой эгоизм, сливши с ним требование порядка общего, так что для сохранения порядка способны даже жертвовать некоторыми личными вкусами и выгодами»[46].

При переводе на политический язык это означает, что старый режим начинает чувствовать свою шаткость, держаться на крепостном хозяйстве он не может. Представители его заботятся уже не о том, чтобы сохранить этот порядок на веки вечные, а чтобы дожить свой век при нем, но и настолько у них уже нет сил. Крымская кампания воочию убедила всех, что старый режим сгнил, что нужны серьезные перемены. Однако представители и защитники самодержавно-крепостнического строя даже не понимают своих интересов: консервативны они настолько, что не идут ни на какие уступки; они не могут стать даже на точку зрения просвещенного абсолютизма, на позицию частичных уступок, чтобы сохранить целое.

Этой неумной упрямой силе старой жизни Островский противопоставил Катерину. Она — носитель начал новой жизни. Она — сила: ее можно убить, но не подчинить, она сломится, но не согнется.

Показав, как колеблется старый мир, как подгнивают его основы, как он неизбежно идет к своей гибели, Островский одновременно показывает, как возник, как развивается, растет, оформляется, крепнет характер Катерины. Он противопоставляет два мира: мир старый, отмирающий и мир новый, поднимающийся. Один мир — командующий, но уже с подорванной верой в свое могущество; другой мир — еще загнанный, но уже крепко растущий с верой в свою конечную победу. Критик по цензурным условиям не сделал политических выводов, но они напрашиваются сами собой при вдумчивом чтении драмы и критической статьи. Впрочем, свой революционный вывод он подсказывал, когда писал, что на нас веет новой жизнью даже с самой гибели Катерины. Эта сила колеблет старый мир, и всякие «добродетельные и почтенные, но слабые и безразличные существа» уступают ей.

Самое интересное в статье Добролюбова то, что он в деталях анализирует историю характера Катерины. Доказав, что жизнь выдвигает новых героев, более сильных, чем давали сороковые годы, что эти силы выходят из «партии угнетенных», что они сильны, несмотря на то, что борьба приводит их к Волге, Добролюбов шаг за шагом прослеживает жизнь Катерины и показывает, как складывается ее характер.

Катерина не получила никакого образования, она не знает и не понимает, что делается на белом свете. Девочкой, живя на свободе у матери, среди богомолок и странниц, она не отличала мир

[46] Том IV, стр. 308.

действительный от своей мечты. Мир же «она строила себе иной, без страстей, без нужды, без горя, мир, посвященный добру исключительно. Но что это за мир, в конкретности она не представляла. Когда она подросла, когда ею представляемый мир разошелся с действительностью, у нее родилось неудовлетворение. Слабая натура могла подпасть под власть давящей жизни и безропотно покориться ей; Катерина оказалась не такой: родившееся неудовлетворение вызвало у ней протест против действительности. Когда она вышла замуж, то пробует найти утешение в религии, но не находит; не находит она удовлетворения и в «неопределенных воображениях блаженства, которым она наслаждалась раньше». Она возмужала, в ней проснулись другие желания, более реальные. Без любви она вышла замуж за Тихона, но это не по слабости характера; Катерине покуда все равно, и у нее нет достаточного опыта, чтобы учесть все последствия этого шага. Но когда она поймет, что ей нужно, и захочет чего-нибудь достигнуть, то добьется своего во что бы то ни стало: тут-то и проявится вполне сила ее характера, не растраченная в мелочных выходках. Сначала, по врожденной доброте и благородству души своей, она будет делать всевозможные усилия, чтобы не нарушать мира и прав других, чтобы получить желаемое с возможно большим соблюдением всех требований, какие на нее налагаются людьми, чем-нибудь связанными с ней; и если они сумеют воспользоваться этим настроением и решатся дать ей новое удовлетворение, — хорошо тогда и ей, и им. Но если нет, — она ни перед чем не остановится: закон, рабство, обычай, людской суд, правила благоразумия — все исчезает для нее перед силою внутреннего влечения, она не щадит себя и не думает о других» [47].

Старый мир, мир Кабановых, не сумел использовать врожденной доброты Катерины, не сделал ей уступок, и она пошла против всех, «вооруженная единственно силою своего чувства, инстинктивным сознанием своего прямого, неотъемлемого права на жизнь, счастье и любовь». Теоретически Катерина не могла отвергнуть мир Кабановых, но нутром она его не приняла. Тяжел мир Кабановых, мрачно все кругом. Катерина еще одиночка и новичок в борьбе. Нужно было много сил, моральных и умственных, чтобы дойти до отрицания «темного царства» и признания настоящей жизнью жизнь на совершенно новых началах. Еще более сил нужно было заявить о своем разрыве со старой жизнью и начать борьбу за новую жизнь. «Страшна и тяжела для каждого новичка попытка итти наперекор требованиям и убеждениям этой темной массы, ужасной в своей наивности и искренности. Ведь она проклянет нас, будет бегать, как зачумленная, — не по злобе, не по расчетам, а по глубокому убеждению в том, что мы сродни ан-

[47] Том IV, стр. 333.

тихристу; хорошо еще, если только полоумным сочтет и будет подсмеиваться» [48].

«Вольный воздух и свет, вопреки всем предосторожностям погибающего самодурства, врываются в келью Катерины, она чувствует возможность удовлетворить естественной жажде своей души и не может долее оставаться неподвижной: она рвется к новой жизни, хотя бы пришлось умереть в этом порыве. Что ей смерть? Все равно — она не считает жизнью то прозябание, которое выпало ей на долю в семье Кабановых» [49].

Таков характер Катерины в своем развитии. Он поражает своей органичностью, целостностью. В нем нет ничего случайного, наносного, взятого от книжек. Все обусловлено самой жизнью, будничной обстановкой, все обусловлено самой натурой Катерины. «Натура заменяет здесь и соображения рассудка, и требования чувства и воображения: все это сливается в общем чувстве организма, требующего себе воздуха, пищи, свободы».

Вот эта-то основа характера Катерины, — замечает критик, — «надежнее всех возможных теорий и пафосов, потому что она лежит в самой сущности данного положения, влечет человека к делу неотразимо, не зависит от той или другой способности или впечатления, а опирается на всю сложность требований организма, на выработку всей натуры человека» [50].

Этими своими рассуждениями Добролюбов убедительно доказывает, что в жизнь идет новый герой, более сильный, могучий и активный, не останавливающийся даже перед смертью. Герой этот идет из низов, из народа, из угнетенной партии, идет неизбежно, в силу исторического развития, на смену всем предшествующим героям из привилегированных и образованных слоев общества. Самоотверженный характер новых героев не случаен, не составлен на основании логических и нравственных побуждений, а его выдвигает сама жизнь, и, чем дальше, тем характер этот будет крепнуть и оформляться, тем характеров этих будет больше, настолько много, что старый мир не будет уже в состоянии им сопротивляться и падет покоренный и разбитый.

Во всех этих политических выводах одновременно скрывается глубоко обоснованный призыв к борьбе с самодержавно-крепостническим строем. Критик доказывает, что сама история за эту борьбу, что она на стороне восстающих, что, как бы борьба ни была мучительна, как бы много жертв она ни потребовала, победа восставших неизбежна. Не очень уж много надо воображения, чтобы представить, как подобная критика волновала сердца революционной молодежи, как она звала ее к смертельной схват-

---

[48] Том IV, стр. 301.
[49] Том IV, стр. 327.
[50] Том IV, стр. 327.

ке с существующим режимом. И мы знаем, что молодежь поняла призывы Добролюбова и пошла за ним.

Катерина погибла в Волге. В этом некоторые склонны видеть слабость характера. Им хотелось видеть Катерину победительницей, торжествующей, с красным знаменем в руках. Чтобы к Катерине не предъявляли требований исторически непосильных, чтобы читатель видел, что Катерина ничего более не могла сделать в условиях тогдашней действительности, — что эта действительность, несмотря на то, что она загнивала, была еще достаточно сильна, чтобы выдержать первый серьезный напор, Добролюбов хвалит Островского не только за то, что он сумел на основании жизненных будничных положений показать, что «характер Катерины составляет шаг вперед» во всей нашей литературе, но и в сильной степени хвалит за то, что драматург показал, что «история, разыгравшаяся с Катериной, решительно зависит от того положения, какое неизбежно выпадает на долю ее между этими лицами; в том быте, который установился под их влиянием», т. е. драматург показал, что на данной стадии общественного развития иначе и не могло быть: Катерина не могла свергнуть царства самодуров, не было налицо всех нужных предпосылок. Она только начинала его решительно и настойчиво расшатывать.

Революция 1905 года потерпела поражение. Пролетариат и революционное крестьянство не в силах были еще сломить самодержавия. И, тем не менее, революция 1905 года нанесла самодержавию решительный удар, настолько решительный, что через десяток лет пало окончательно самодержавие, распались силы, поддерживающие капиталистический республиканский мир, а революция в своем наступательном движении закончилась диктатурой пролетариата. Жертвы революции 1905 года не оплакивались нами, как символ гибели революции; наоборот, все клялись перед могилами погибших, что оставшиеся в живых пойдут их дорогой и закончат начатое ими революционное дело. Все повторяли, что погибли они не даром. Аналогичные соображения заставили Добролюбова написать, что «Гроза» производит впечатление менее тяжелое и грустное, нежели другие пьесы Островского. «В других пьесах царствует беспрерывный гнет и произвол, там «гнилое болото» поглощает все живое, там — темница, в которой медленная, но верная, неизбежная смерть. Здесь трагическая смерть, борьба, здесь развертывается гроза под «темным царством». Буря не вырвала старого, гнилого, но почву поколебала. Всякий чувствует, что с гибелью Катерины гроза не кончается, гром ударит с новой силой, придут новые Катерины, более сильные и в большем количестве. Вот они-то и сломят мир Кабанихи. Это сознание и делает пьесу менее тяжелой и заставляет чувствовать что-то освещающее и бодрящее в самой гибели Катерины. Не даром Некрасов писал

иро революционеров: «есть времена, есть целые века, в которых нет ничего желанней, прекрасней — тернового венца».

Могут указать, что Добролюбов не имел никаких оснований переносить семейную, чисто личную трагедию Катерины на трагедию общественную. Этот вопрос в известной степени праздный, пустой вопрос. Давно уже установлено, что Островский — автор социальный. И если критик имел все основания изобразить «темное царство» как символ самодержавно-крепостнического государства, то не меньше основания у него было и к тому, чтобы от личной трагедии Катерины подняться в своем обобщении до социальной трагедии, увидев в Катерине новый тип борца и новую жертву устоев «темного царства». Это возражение критик предвидел и дал на него исчерпывающе убедительный ответ как теоретическими соображениями, так и всей своей литературно-критической деятельностью, положив в основу своей деятельности не эстетическую критику, а обращая внимание «на явления русской жизни», воспроизводимые в пьесах Островского, стараясь «установить их общий характер и допытаться, таков ли смысл этих явлений в действительности, каким он представляется нам в произведении драматурга». Возможно, найдутся критики и публицисты, которые не примут этого взгляда критика, но тогда они вообще не примут Добролюбова, и с такими людьми у нас нет никакой почвы для обсуждения вопроса.

Добролюбов, чтобы укрепить свои политические выводы, ставит вопрос о том, почему Островский в качестве главного героя взял женщину, а не мужчину. Этот вопрос имеет серьезное значение. Женщина — самое забитое, угнетенное, бессловесное существо, отпечатки рабства видны на женщине даже в наши дни. Женщина существо самое слабое, беспомощное, об ней рассуждают: курица — не птица, женщина — не человек. И вот если такое угнетенное и слабое существо не выдерживает, поднимается на борьбу, — значит, существующий режим абсолютно невыносим. Ясно, «если уж женщина захочет высвободиться от подобного положения, то ее дело будет серьезно и решительно». Иначе и не может быть. Легкомысленная непоследовательная борьба приведет только к дальнейшему беспросветному рабству и попранию всего человеческого. Серьезность и решительность борьбы требуют от женщины «много сил и характера», потому что ей сразу дадут почувствовать, и это она хорошо знает, заранее, что «она ничто, что ее раздавить могут». И раз она на борьбу все же идет до конца, — значит, она женщина героическая, готова ко всему. Так изображает дело Островский.

Добролюбов истолковал это так: старые борцы — обломовцы, они уже беспомощны. Новые борцы идут из низов, из самой «угнетенной партии», причем они идут из самых забитых и самых угнетенных народных масс. Если эти массы, хотя бы и в лице оди-

ночек, поднимают свой протест, — значит, им больше нет возможности жить, значит, они пойдут в бой с самодержавно-крепостническим порядком. Пойдут в бой на смерть. Иного выхода им нет: жизнь или смерть. Мы думаем, что критик не случайно, не бессознательно употребляет термин «восстание». Катерина «хочет итти до конца в своем восстании против угнетения и произвола старших», — пишет Добролюбов. Этой фразой он подчеркивает, что народ, забитый, задушенный, вынужден сам восстать против гнета господствующих классов, и в своем восстании «итти до конца». Победит, — будет торжественно строить новую жизнь; побежденный — буде. . отовиться к новым, не менее жарким, а еще более смертельным схваткам. Вопрос стоит решительно: кто кого?

Выведена в пьесе женщина, как видит читатель, не случайно.

Островского далеко не все поняли во всем , его социальном значении. Известно, что Писарев отрицательно отнесся к Катерине; какой она герой современности, герой «живого дела», когда она бросилась в Волгу и тем самым сбежала от истории, от борьбы.

Как последовательный просветитель, он писал: «Русская жизнь, в самых глубоких своих недрах, не заключает решительно никаких задатков самостоятельного обновления; в ней лежат только сырые материалы, которые должны быть оплодотворены и переработаны влиянием общечеловеческих идей». Насколько Писарев ниже Добролюбова в своих воззрениях, и философских и политических, бросается каждому в глаза. Эти взгляды и помешали понять ему революционный характер Катерины, это они продиктовали ему строки: «Катерина, совершив множество глупостей, бросается в воду и делает таким образом последнюю и случайную нелепость» [51].

Совершенно не понял «Грозы» и Ап. Григорьев. Этот «лишний человек», — как он любил называть себя, и совершенно справедливо, — пытался обескровить творчество Островского, пытался убить в нем всякое не только революционное, но и просто оппозиционное содержание. Он писал: «Имя для этого писателя — не сатирик, а н а р о д н ы й п о э т. (Разрядка автора). Слово для разгадки его деятельности не «самодурство, а «народность». Только это слово может быть ключом к пониманию его произведений» [52].

Их мысли, хотя и в смягченном виде и не с той прямолинейностью, которая свойственна была их страстным натурам, повторяют, как это ни странно, до сих пор, и даже те критики и историки литературы, которые претендуют на звание марксистов. В данном случае они так же не правы, как и в вопросе о «лишних людях». И корень ошибки их прежний. Они не могут материалисти-

---

[51] Соч. Д. И. Писарева. Изд. Павленкова. Том III, стр. 306, 307.
[52] Соч. Ап. Ал. Григорьева, том I, стр. 464. Изд. «Общ. польза» 1876 г.

чески и диалектически осмыслить характера Катерины, они значительно ниже Добролюбова в понимании «Грозы». Эти критики свой политический оппортунизм переносят и на толкование Добролюбова. Политически он для них далек в вопросе о «лишних людях» и в вопросе о Катерине. По существу это один политический вопрос. Добролюбов не мог возражать своим противникам с политической точки зрения, он вынужден был отвечать им с литературно-теоретических позиций. Его критики продолжают исходить, как это ни странно, и как бы они от этого не отрекались, из положения, которое Добролюбов, как материалист, отверг и осмеял с первых строк своей статьи. Эти критики «прежде говорят себе — что д о л ж н о содержаться в произведении (по их понятиям, разумеется) и в какой мере все д о л ж н о е действительно в нем находится (опять сообразно их понятию) [53].

Эту критику Добролюбов отрицает, хотя и не отвергает упрека противников, что его критика — это способ «на приискание нравственного вывода к басне»; он лишь добавляет, что разница «будет лишь настолько велика, насколько комедия отличается от басни, и насколько человеческая жизнь, изображаемая в комедиях, для нас важнее и ближе ослов, лисиц, тростинок и прочих персонажей, изображаемых в баснях» [54].

Свои рассуждения Добролюбов последовательно выводит из материалистического тезиса. Он указывает и за это хвалит Островского, что «не отвлеченные верования, а характерные факты управляют человеком, что не образ мыслей, не принципы, а натура нужна для образования и проявления крепкого характера» [55]. Он рассуждает: «если вы хотите живым образом действовать на меня, хотите полюбить красоту, — то умейте уловить в ней этот общий смысл, это веяние жизни, умейте указать и растолковать его мне: тогда только вы достигнете вашей цели. То же самое и с истиною: она не в диалектических тонкостях, не в верности отдельных умозаключений, а в живой правде того, о чем рассуждаете. Дайте мне понять характер явления, его место в ряду других, его смысл и значение в общем ходе жизни, и поверьте, что этим путем вы приведете к правильному суждению и даже гораздо вернее, чем посредством всевозможных силлогизмов, подобранных для доказательства вашей мысли» [56]. Вот это-то предпочтение живой действительности верности силлогизма и придает суждениям Добролюбова большую диалектическую силу, чем суждениям его противника. Он сумел подойти к «Грозе» и материалистически, и диалектически, и как последовательный де-

[53] Том IV, стр. 250.
[54] Том IV, стр. 251.
[55] Том IV, стр. 341.
[56] Том IV, стр. 259.

мократ и как решительный революционер: он подошел к «Грозе» как реальный политик в лучшем смысле этого слова.

Для него герой — не абстракция, он отыскивает его в живых человеческих отношениях, в экономике и правовых отношениях общества. Этими сторонами общественной жизни определяется вся деятельность героя, ее широта, глубина, ее возможности, ее успехи и неудачи. В зависимости от развития и изменения действительности меняется характер героя и характер его деятельности. В этот материалистически-диалектический процесс и поставлена Катерина.

Критик жестоко бичевал так называемых людей сороковых годов за их книжное народолюбие. Катерина никаких книг, теорий не знает, у нее нет «великих идей» ни в голове, ни на языке — у нее все вытекает не из воображения, а из живой потребности, из «жизненной необходимости натуры». Она борется не в силу гуманных идей, не в силу морального долга перед народом, — ее борьба идет из «глубины всего организма». Катерина борется не за отвлеченное благо, а за реальное право, без которого она не может жить. Либерал борется до тех пор, пока борьба не затрагивает его классовых интересов, при своей классовой ограниченности и трусости он даже боится таких характеров, как Катерина, хотя и любит выставлять себя самоотверженным борцом за народное дело. Катерина борется самоотверженно, борется до конца, не вступая в конфликт со своей классовой природой; этот конфликт у нее невозможен, исход конфликта зависит исключительно от соотношения классовых сил. Она, однако, кажется, даже не думает о своей самоотверженности, о своем геройстве.

Вот этого-то живого, жизненного характера и не поняли противники Добролюбова, его современники и современники наши. Самоубийство Катерины они истолковали как капитуляцию перед жизнью, перед классовым врагом, тогда как это был геройский выход из положения, когда человеку в его неравной и смертельной борьбе приходится выбирать: или покорная сдача на милость победителя, рабство и медленная смерть и тем самым укрепление существующего порядка, давая ему уверенность в его жизненности и силах и дезорганизация сил «угнетенной партии», порождая в рядах ее настроения паники, бессилия и безнадежности, — или смерть, хотя бы и от своей руки, но не сдача врагу, и через это дезорганизация врага, ибо враг, хотя и избавляется от противника, но он чувствует его силу, противник бьется, погибает, но не сдается. — Друг хотя и понимает, «что грустно, горько такое освобождение», но в этой смерти он черпает силы для дальнейшей борьбы. «Живые завидуют мертвым, да еще каким — самоубийцам».

В разборе комедий Островского Добролюбов показал, что русская действительность, самодержавно-крепостнический строй,—

это строй самодурства, «темное царство», царство угнетения, эксплоатации человека человеком, и это царство должно быть разрушено в самом своем основании. Иного выхода нет.

Разбором романа Гончарова Добролюбов показал, что люди сороковых годов, борцы за народ из высших привилегированных классов, разбить «темное царство» в силу своего классового положения не в состоянии. Они больше говорят, чем делают, а когда делают, то трусят и кончают компромиссом, спасая себя и предавая интересы народа. Их идеал отвлеченен, не жизненен, реальной жизни они не знают. В «Грозе» Добролюбов показал, что действительные, настоящие борцы за интересы народа выходят из глубин самого народа. Эти характеры — жизненны, последовательны, самоотверженны, они не смогут предать народ. Они идут на смену прежним краснобаям. Если сил у них не хватит, они не сдадутся, а погибнут, завещая живым вести дальнейшую борьбу.

IV

Для развития своих взглядов на возможность появления героев борьбы, героев, которые могли бы поднять крестьянскую революцию, Добролюбов взял повесть Тургенева «Накануне» и написал статью «Когда же придет настоящий день?

Эту статью, как и статью об обломовщине, Добролюбов начинает с анализа и похвалы таланта писателя. Он указывает, что Тургенев не принадлежит к тем «титаническим талантам, которые единственно силою поэтического представления поражают, захватывают вас и влекут к сочувствию такому явлению или идее, которым мы вовсе не расположены сочувствовать. Не бурная, порывистая сила, а напротив, мягкость и какая-то поэтическая умеренность служат характеризующими чертами его таланта»[57] Тургенев увлекает теми вопросами, которые волнуют общество и которые он пытается разрешить.

Рассматривая литературное явление «как совершившийся факт, как жизненное явление, стоящие перед нами», критик не в первый раз напоминает, что степень таланта писателя измеряется тем, как широко захвачена им жизнь «в какой мере прочны и многообразны те образы, которые им созданы». Добролюбов ценит в Тургеневе то, что в его творчестве отразились «все колебания общественной мысли», что «если уже г. Тургенев тронул какой-нибудь вопрос в своей повести, если он изобразил какую-нибудь новою сторону общественных отношений, — это служит ручательством за то, что вопрос этот действительно поднимается или скоро поднимется в сознании образованного общества, что эта новая сторона жизни начинает выдаваться и скоро выкажется рез-

[57] Том IV, стр. 363.

ко и ярко пред глазами всех» [58]. В этом широта, жизненность творчества Тургенева. Однако этих качеств для писателя недостаточно, важно еще и то, как, с какой классовой точки зрения, как глубоко писатель понимает общественное явление. В этом отношении критик сразу, сильно, резко, но справедливо ударяет по писателю, характеризуя его без всяких оговорок, как «представителя и певца той морали и философии, которая господствовала в нашем образованном обществе в последнее десятилетие» [59]. А как критик относился к образованному обществу того времени, хорошо известно из предыдущего. Хваля Тургенева за его жизненность и широту, Добролюбов сразу подорвал авторитет писателя, указав, что все общественные проблемы он решает с точки зрения образованного общества, высших классов, а не исходя из взгляда на вещи самого народа.

Очень интересно суждения Добролюбова сопоставить с суждениями народовольцев. Во время похорон Тургенева в 1883 году 27 сентября «Народная воля» выпустила нелегальную прокламацию, в которой пером П. Ф. Якубовича писала: «Барин по рождению, аристократ по воспитанию и характеру, «постепеновец» по убеждению, Тургенев, быть может, бессознательно для самого себя своим чутким любящим сердцем сочувствовал и даже служил самой революции [60]. Как ни странно, «Народная воля» даже заявила, что ей безразлично, желал он революции или был «искренним постепеновцем». Этого вот человека в 1879 году, во время его празднеств звали стать во главе общественного движения, наивно полагая, что только один Тургенев «сумеет объединить все направления и партии, сумеет оформить это движение, придать силу и прочность». Празднества были, как известно, в обстановке террористических актов; либералы намеревались использовать маститого писателя против революции, против «Народной воли», его возносившей и считавшей его революционным за «сердечный смысл своих произведений» и даже якобы за любовь к революционной молодежи. И Тургенев было решился стать «руководителем политического движения в России». П. Лавров в своей статье «И. С. Тургенев и русское общество» пытался комментировать в пользу писателя даже речь С. И. Бардиной на «процессе 50-ти» в 1877 году. Правда, Бардина считала «насильственную революцию при известных обстоятельствах неизбежным злом», но ее речь не совпадала никоим образом со взглядами писателя, а участники процесса далеко не походили на героев «Нови». Бардина не была «постепеновцем», либералом, старого покроя в английском династическом смысле, человеком, ожидающим реформ

[58] Том IV, стр. 364.
[59] Том IV, стр. 363.
[60] И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников «Academia». 1930 г., стр. 4.

только свыше, — принципиальным противником революции, не говоря уже о безобразиях последнего времени»[61]. Это в свое время очень хорошо понял Н. Щедрин. Он писал о «Нови» П. В. Анненкову:

«Что касается до меня, то роман этот показался мне в высшей степени противным и неопрятным... Что же касается до так называемых «новых людей», то описание их таково, что хочется сказать автору: старый болтунище! неужели седые волосы не могут обуздать твоего лганья! Перечтите паскудные сцены переодевания, сжигания письма, припомните, как Нежданов берет подводу и вдруг начинает революцию, как идеальный Соломин говорит: «делайте революцию, только не у меня во дворе». Продолжая свою мысль о Тургеневе, Салтыков в другом письме сообщил Анненкову:

«А у нас, между тем, политические процессы своим чередом идут. На-днях один кончился (вероятно, по газетам знаете) каторгами и поселениями, только трое оправданы, да и тех сейчас же спроводили с места рождения. Я на процессе не был, а говорят, были замечательные речи подсудимых. В особенности одного крестьянина Алексеева и акушерки Бардиной. Повидимому, дело идет совсем не о водевиле с переодеванием, как полагает Иван Сергеевич»[62].

Революционеры-семидесятники отнеслись к таланту Тургенева с большей симпатией и этим наглядно показали, насколько в политическом отношении они стояли ниже Добролюбова. Классовое чутье критика не притупилось от «сердечности» писателя. Он понял, что писатель — классовый враг выступающей на сцену революционно-демократической интеллигенции, носительницы идей крестьянской революции, которой боялось либеральное дворянство и помещик И. Тургенев.

Но чтобы у читателя не возникло недоуменного вопроса, как же Тургенев, певец дворянских усадеб, создал тип Елены и Инсарова, Добролюбов свои теоретические соображения сопровождает рядом замечаний, из которых самое основное: важно то, что сказалось автором, хотя бы это и сказалось неожиданно, помимо его воли, ненамеренно.

Такое вступление нужно было критику опять в тех же целях, что и в других статьях. Добролюбов хочет, чтобы читатель поверил Тургеневу, что Елена новый человек в жизни, что она не единична, что она становится уже типом, что общественная жизнь складывается так, что тип Елены становится более законченным, — таким, какой нужен для борьбы с существующим порядком.

---

[61] Там же. Из письма И. С. Тургенева в ред. «Вестника Европы» в декабре 1879 г., стр. 57.

[62] М. Салтыков-Щедрин. Письмо. Гиз. 1925 г., стр. 156, 162.

Добролюбов указывает, что Тургенев, «сознавши, что прежние герои уже сделали свое дело и не могут возбуждать прежней симпатии в лучшей части нашего общества, решился оставить их и, уловивши в нескольких отрывочных проявлениях веяние новых требований жизни, попробовал стать на дорогу, по которой совершается передовое движение настоящего времени» [63].

С одной стороны, критик указывает, что писатель живет отжившими идеями, что он не может быть вождем так называемого передового общества и народа; делает он это весьма деликатно, но вполне ясно. С другой стороны, критик говорит о попытке писателя — правда, только о попытке, — стать на новую дорогу и воздает ему за это должное, как писателю, который заглянул вперед и сумел увидать там новое типичное явление.

Оговариваясь об идеологической направленности Тургенева, но подчеркивая его зоркий взгляд в будущее, Добролюбов убеждает читателя, что Елена не вымышленное лицо, а живая действительность. Все это нужно было критику, чтобы доказать, что люди дела уже нарождаются.

Считая эту задачу разрешенной, критик переходит к характеристике Елены, он дает эту характеристику в сравнении с прежними типами Тургенева.

Добролюбов начинает издалека и тонко, логически убедительно развивает свою излюбленную мысль: «те понятия и стремления, которые прежде давали титул передового человека, теперь уже считаются первой необходимой принадлежностью самой обыкновенной образованности. От гимназиста, от посредственного кадета, даже иногда от порядочного семинариста вы услышите нынче выражение таких суждений, за которые в прежнее время должен бы спорить и горячиться Белинский». Нынче «нужно уже нечто другое, нужно итти дальше» [64]. «Ясно, что теперь нужны нам не такие люди, которые бы еще более «возвышали нас над окружающей действительностью», а такие, которые бы подняли или нас научили поднять самую действительность до уровня тех разумных требований, какие мы уже сознали. Словом, нужны люди дела, а не отвлеченных, всегда немножко эпикурейских рассуждений» [65]. Если раньше был период осознания передовых стремлений, то теперь должен быть период осуществления их, а общество за последние 20—30 лет в этом отношении ничего не сделало. Лаврецкие пассивны перед торжествующими в жизни понятиями. Эти возвышенные характеры покорно склоняются под уда-

---

[63] Том IV, стр. 371.
[64] Том IV, стр. 366.
[65] Том IV, стр. 369.

рами судьбы. Михалевич обругал Лаврецкого байбаком. Гончаров сблизил его с Обломовым. Елена хочет делать дело, но не может, не смеет, ей не на чем было в соответствующем направлении развить свои способности.

Как в анализе характера Катерины, так и в анализе характера Елены, критик прослеживает всю жизнь своей героини, начиная с ранних детских лет. В умном, впечатлительном ребенке, с доброй, сострадательной душой, мать своим убитым видом вызвала гуманные чувства сострадания. От сострадания Елена естественно перешла к стремлению делать добро. Но проявить себя она нигде не могла. «Ей нужно было что-то больше, чего-то выше; но чего — она не знала, а если и знала, то не умела приняться за дело...» «Ясно, что она еще находится в неопределенных сомнениях относительной самой себя, она еще не определила своей роли. Она поняла, что ей неясно, и смотрит гордо и независимо на обычную обстановку своей жизни; но что ей нужно и главное — что делать, чтобы достигнуть того, что нужно, — этого она еще не знает, и потому все ждет, все живет накануне чего-то... Она готова к самой живой, энергической деятельности, но приступить к делу сама по себе, одна — она не смеет» [66].

Вскрывая пассивность и несмелость характера Елены, при ее страстном стремлении к деятельности, при ее внутренних силах, критик, с одной стороны, показывает органическую связь своей героини с образованным обществом, которое больше разговаривает и совсем не действует; с другой стороны, он убеждает, что Елена — живой действительный человек, а не тепличное, чужеземное растение. Елена реальна, а не сочинена романистом. Наконец критик подчеркнул, что особенно для него было важно, что Елена выше Ольги, что ее характер свидетельствует о том, что «во всем нашем обществе заметны теперь только еще пробудившиеся желания приняться за настоящее дело, сознание пошлости разных красивых игрушек, возвышенных рассуждений и недвижимых форм, которыми мы так долго себя тешили и дурачили. Но мы еще все-таки не вышли из той сферы, в которой так спокойно было нам спать» [67].

Елена выше Ольги. Ольга может создать новую жизнь, но она вынуждена жить в пошлости — «от этой пошлости некуда уйти ей». Елена как бы отвечает на «проклятые вопросы» Ольги, она уже «ищет возможности устроить счастье вокруг себя, потому что она не понимает возможности не только счастья, но и спокойствия собственного, если ее окружает горе, несчастье, бедность и унижение ее ближних» [68].

---

[66] Том IV, стр. 376.
[67] Том IV, стр. 377.
[68] Том IV, стр. 379.

Добролюбов неоднократно повторяет, что Тургенев сумел найти в обществе людей, которые уже не могут жить в бездеятельности, вынужденная пассивность которых отравляет их существование, убивает их. Но среда, из которой они вышли, держит их еще довольно крепко, не пускает вперед. Надо иметь большую силу и соответствующие условия, чтобы разорвать эти цепи.

Критик не клеймит либералов-идеалистов со всей той беспощадностью, которую он проявил в статье об обломовщине, но все же решительно и ясно подчеркивает, что эта среда мертва и умерщвляет все, что могло бы жить и действовать в духе времени.

Вот эта среда. Она дала Пасынкова, Рудина, Лаврецкого, Елену. Каждый из этих лиц смелее, полнее предыдущих, но в своей основе они одинаковы. Они вызывали сострадание к себе, любовь, потому что их благородные стремления постоянно вступали в конфликт с жестокой действительностью. Елена совершеннее их, но среда крепко держит в своих путах и эту активную натуру. Таково свойство породившей ее среды. Родители — живут старыми понятиями, о них говорить не приходится. Шубин — натура художественная и, может быть, не бесталанная, но он глубокий индивидуалист, непостоянен, у него «все зависит от минуты», он не способен ни на что серьезное, активное; он — сплошное противоречие, ленив, желчен, презирает себя и гордится собой. Берсенев — самоотвержен, но пассивен, он даже не понимает и не умеет соединить свои интересы, свое счастье с интересами и счастьем родины. Этот человек рассуждает о Фейербахе, но все его рассуждения критик называет «пустопорожне-романтическими». Курнатовский — как будто активнее, но у него все выходит как-то по-казенному. Елена одинока. В ее среде не нашлось ни одного человека, который удовлетворил бы ее запросы, который указал бы путь к новой жизни, который направил бы ее к определенной деятельности. А между тем в груди этой девушки кипит желание узнать, что делать. «С болью недоумения она пишет в своем дневнике: «О, если бы мне кто-нибудь сказал: вот что ты должна делать! Быть доброю — этого мало; делать добро... да, это главное в жизни. Но как делать добро?»[69] Среда такова, что Елена даже начинает приходить к убеждению, что ее идеалы могут быть достигнуты без борьбы.

Тонко, деликатно, политично, но определенно и решительно Добролюбов убеждает читателя, что общество поднялось на высшую ступень развития, в нем стали возможны деятельные характеры, которые не мирятся с положением вещей и только ждут, кто бы им указал, что и как делать. Критик, подчеркивая новый этап общественного развития, вместе с тем показывает и

---

[69] Том IV, стр. 395.

стремлений. Добролюбов понимал, что общественная задача в России гораздо сложнее той, которая стояла перед Инсаровым-болгарином, что нужна еще какая-то подготовительная, предварительная работа, чтобы создать условия для появления русских Инсаровых.

Вопрос о социальном государственном перевороте Добролюбов ставит со всей резкостью. Он пишет: «С этим внутренним врагом ничего не сделаешь обыкновенным оружием; от него можно избавиться только переменивши сырую и туманную атмосферу нашей жизни, в которой он зародился, и вырос, и усилился, и обвеявши себя таким воздухом, которым он дышать не может» [74]. Что это значит политически? Ответ ясен: в корне изменить порядок может только народ, только крестьянская революция. Естественно, что критик ставит вопрос: возможно ли это? Когда это возможно? И он твердо отвечает: Да, возможно, но когда, еще неизвестно. «Старая общественная рутина отживает свой век; еще несколько колебаний, еще несколько сильных слов и благоприятных фактов — и явятся деятели» [75].

«Правда, — пишет Добролюбов, — наши гражданские деятели лишены сердца и часто крепколобы; наши умники палец о палец не ударят, чтобы доставить торжество своим убеждениям, наши либералы и реформаторы отправляются в своих проектах от юридических тонкостей, а не от стона и вопля несчастных братьев. Все это так. Но мы все-таки думаем, что теперь в нашем обществе есть уже место великим идеям и сочувствиям, и что недалеко время, когда этим идеям можно будет проявиться на деле» [76]. Раз Елена возможна в литературе, — значит, черты ее характера уже в жизни. Русского Инсарова, однако, нет, но «недолго нам ждать его». Мы живем накануне.

Вся эта политическая обстановка вопроса о положении дел в России и заставила Добролюбова резко поставить вопрос о том, что Тургенев «недостаточно приблизил к нам этого героя даже просто как героя». В этом отношении, согласно своим методологическим установкам, критик увидел «главный художественный недостаток повести». Добролюбов понимает, что писатель не мог сделать Инсарова «нашим», ему мудрено было бы жить в Москве, ничего не делая, «и мудрено было ему высказаться вполне со своей идеей» вооруженного восстания. Этого критик не требует, Инсарова еще нет в жизни, но приблизить Инсарова к русской действительности было необходимо, так как русское общество жило накануне прихода русских Инсаровых. Либерал английского типа Тургенев этого не видел и не понимал; демо-

---

[74] Том IV, стр. 422.
[75] Том IV, стр. 423.
[76] Том IV, стр. 421.

крат, революционер, социалист Добролюбов, наоборот, четко видел жизненность русских Инсаровых, крестьянской революции, и, естественно, приближение болгарина Инсарова к русским условиям должно было быть одним из главных условий художественности произведения. Вне этого Добролюбов не видел полноты, правдивости изображения, глубинного проникновения в сущность общественного процесса, отображаемого художником. За иностранцем, за чужим Инсаровым, русское общество не могло пойти. Добролюбов же хотел его видеть, и на законном основании, настолько близким русскому обществу, чтобы оно, не колеблясь, но с энтузиазмом и самоотвержением Елены, воскликнуло: идем за тобой! Либерал Тургенев в силу своей классовой природы этого сказать не мог и этим не удовлетворил Добролюбова, представителя другой социальной силы.

С этого политического пункта критик и начинает поправлять писателя. Он начинает приближать к нам, русским, болгарина Инсарова.

Прежде всего Добролюбов категорически заявляет, что у нас, в передовой части общества сильно развита «любовь к страждущим и притесненным, желание деятельного добра, томительное искание того, кто бы показал, как делать добро». Для удовлетворения этого чувства нужны не Онегины, не Рудины, не Лаврецкие, не Берсеневы, а люди другого склада. «Для удовлетворения нашего чувства, нашей жажды нужно более: нужен человек, как Инсаров, но русский Инсаров»[77]. Только русский Инсаров может поднять общество на вооруженную борьбу с самодержавно-крепостническим строем, тогда и Елены найдут приложение своим силам у себя на родине, не за чем им будет устремляться за границу.

Добролюбов восхищается Инсаровым, потому что идея, которой он живет, «озаряет мрак нашего существования», потому что он живет страстной, глубокой ненавистью к поработителям, он ненавидит существующий порядок вещей. Стремление Инсарова,— пишет критик, — заключается в величии и святости той идеи, которой проникнуто все его существо. «В нем только и есть постоянная, слитая с ним идея родины и ее свободы...» «Идея эта так свята, так возвышенна». Личное счастье и интересы Инсарова неразывно связаны со счастьем и интересами родины. Для него можно заниматься только таким делом, которое ведет к освобождению родины. Словом, конечная цель жизни — «страстное желание освободить родину, и этой мысли он предается весь открыто и уверенно». Естественно, революционер и демократ Добролюбов, поскольку он предвидел приход в скором времени русских Инсаровых, упрекал художника в том, что он не показал

[77] Том IV, стр. 421.

«величия и красоты» идеи, которая руководит поведением Инсарова. Критик упрекает романиста за то, что он дал Инсарова недостаточно определенным, не настолько определенным, «чтобы мы сами прониклись «его идеями» и в гордом воодушевлении воскликнули: идем за тобой!»

В соответствии со своим взглядом на общественное развитие России, в соответствии со всем политическим смыслом статьи, критик указывает, что русские Инсаровы будут, условия, которые их вызовут к жизни, скоро придут, хотя их сейчас и нет. Развивая свои материалистические взгляды на взаимоотношения человека и общества, Добролюбов замечает, что героя формирует общественная среда, сформирует она и русского Инсарова. Доказывает это, в силу цензурных условий говоря совершенно обратное, но говоря так, что читатель находил и понимал скрытую мысль автора. Инсаров-болгарин возможен, потому что «в Болгарии нет общественных прав и гарантий», страна порабощена и для завоевания ее свободы приходится поднимать вооруженное восстание. Инсаров-русский в настоящий момент невозможен, потому что «Россия, напротив того, государство благоустроенное, в нем существуют мудрые законы, охраняющие права граждан и определяющие их обязанности, в ней царствует, процветает благодетельная гласность и т. д.». Говорит критик внешне серьезным тоном, но всякий видит, что тут скрыта глубоко злая ирония, издевательство над русским самодержавием. В этой же статье в другом месте он сам язвительно характеризует русское общество и говорит о том, что всякая гласность задавлена русским самодуром-самодержавием. Всякий, всматривающийся в порядки николаевского режима, понимает, что они ничем не отличаются от болгарских, и если в Болгарии неизбежно вооруженное восстание за свободу страны и есть уже Инсаров, организатор этого восстания, то такое же вооруженное восстание неизбежно и в России, неизбежен и русский Инсаров, идеолог и руководитель крестьянской революции, крестьянского вооруженного восстания против царя, помещиков и бюрократии. Логика — политически ясная и определенная.

Добролюбов, насколько позволяет повесть, подробно останавливается на характере Инсарова. Инсаров не герой прежнего вида. Своего героя он не подчеркивает, наоборот, это обыкновенный человек, но только с определенной идеей, которой подчинена вся жизнь, человек, у которого дело не расходится со словом, — человек, который не разменивается на мелкие дела, а разрешает основную общественную проблему. Русский человек, разжалованный в фельдшерские помощники и не выдержавший зверского с ним обращения в течение двух недель, застрелился. У Инсарова убили отца, и он не мстит за это, так как он прекрасно понимает, что свобода родины зависит не от его лич-

ных интересов и не этот частный факт решает дело. «Тут не до частной мести, когда дело идет об освобождении народа. Одно помешало бы другому. В свое время и то не уйдет».

Вот эту-то черту превосходства болгарина Инсарова и хотелось Добролюбову видеть особенно выпукло подчеркнутой. Этим художник наносил бы удар по разным либералам и реформаторам. Но то, что хотел революционер-демократ, не мог сделать либерал, да еще ждавший реформ только сверху.

Характерно и наглядно, что в данном пункте совпали полностью методологические и политические установки Добролюбова. Полагая, что литература определяется жизнью, критик в то же время постоянно подчеркивал, что литература имеет социальную функцию, она пропагандирует какую-либо идею, и необходимо, чтобы эта идея отражала развитие жизни полно, глубоко, правдиво. Литература заражает своей идеей общество. Критик и хотел, чтобы заражал Инсаров, зовя русское общество к вооруженному восстанию против николаевского режима. «Бледность очертаний» Инсарова не нравится критику. Такой герой не сможет зажечь сердца и ума, не сможет увлечь. Критик знает, что у нас было много подражателей — Онегину, Рудину, Печорину, теперь все это «лишние люди»; он хочет, чтобы подражали Инсарову, а это герой нового типа, — «он растет, растет, и лицо его хорошеет, и голос, как сталь, и нет, кажется, такого человека тогда на свете, перед кем бы он глаза опустил. И он не только говорит, он делал и будет делать» [78]. Недоговоренность либерала демократ выполняет сравнительной характеристикой Шубина, Берсенева и Инсарова. Критик приближает Инсарова к России, «бледность» и «неопределенность» очертаний затушевывает сравнением Инсарова с русскими героями.

Характер Инсарова во всем совершенно противоположен характеру других героев Тургенева. Он выше их во всем. «Лишние люди» — герои-мученики, Инсаров — герой органический: он делает свое дело и не кичится страданиями, которые ему приходится испытывать, он — обыкновенный человек. «Лишние люди» не знают, что делать и как делать; Инсаров точно знает программу своей деятельности: «освободить родину» — вот идеал, который управляет его поведением. Из такого сравнения читатель, естественно, приходит к выводу, что прежние русские герои не герои, а России нужен русский Инсаров; он будет настоящим героем, он освободит родину. И он, конечно, выйдет не из той среды, которая дала Печорина, Рудина и других. За Инсаровым-болгарином пошла русская Елена, тем более пойдет она за русским Инсаровым. Герой Тургенева «в повести не действует, а только собирается на дело; это и русский может. Характер его тоже воз-

---

[78] Том IV, стр. 397.

можен и в русской коже, особенно в таких проявлениях»[79]. Хваля Тургенева за Елену, которую он показал отравленной дворянской средой, порицая его за то, что он не мог дать более определенного Инсарова, приближенного к русскому обществу, Добролюбов всем этим еще раз нанес удар русскому дворянскому либерализму, а вместе с тем и пропел отходную таланту великого писателя Тургенева, умиравшего вместе со своим классом. Писатель пытался встать на новую дорогу, но — увы! — не смог, его хватило только на Елену, поскольку она связана с прошлым, но у него не нашлось художественного проникновения на Инсарова, поскольку он связан с будущим.

Это было время, когда «имя Чернышевского возбуждало в публике большое движение, что видно между прочим и из писем к нам, т. е. в редакцию «Современника», — писал И. Панаев В. Боткину от 11/24 февраля 1858 года. Книгу же Чернышевского, его диссертацию, Тургенев в письме к Панаеву от 10 июля 1855 года охарактеризовал, как «гнусную мертвечину», как «порождение злобной тупости и слепости».

Настроение Тургенева и его друзей с особенной выпуклостью сказалось в письме Боткина к Панаеву от 29 января 1858 года. Боткин писал: «Здесь есть слухи, что новые распоряжения встречают большую оппозицию со стороны помещиков. Этого надобно было ожидать. Где этим паразитам, отрешенным и от государственной и от народной почвы, понять, что в крепостном праве заключается узел, связывающий Россию по рукам и по ногам? Вконец испорченные своим крепостным правом и гаремною жизнью, эти паразиты менее всякого другого сословия способны на какой-либо великодушный поступок. Какое бессмертное, святое имя будет иметь в истории Александр II! К каким великим подвигам может быть способно доброе и любящее сердце! Правду говорят, что любовь может творить чудеса, а эти распоряжения, ввиду почти несомненной оппозиции помещиков, право, можно считать чудесами. Дай бог только ему силу и твердость устоять в своей воле! Отвратительнее всего, что эти самые помещики на словах почти все ужаснейшие либералы, любят читать запрещенные книжки и с самодовольствием указывают на соломинки в глазах европейских, не замечая целых бревен в собственных своих... Любопытно исследовать, какой государственный элемент представляет собою масса помещиков. Я знаю, что из этого же сословия выработалась и русская поэзия и литература и вообще та некоторая доля цивилизации, которая приготовила нам вступление на европейский путь истории. Да, в русской истории был период, когда государству действительно нужно было это сословие, как в средние века нужно было для ци-

---

[79] Том IV, стр. 396.

вилизации руководжение римской церкви. Но ребенок вырос и даже перерос своего учителя. Обновиться и отрезвиться нужно нашему дворянству — иначе оно впадет в такой же идиотизм, в какой впали представители наших аристократических фамилий. А освобождение крестьян именно на тех основаниях, которые указываются последними распоряжениями, есть первый и необходимейший шаг к его обновлению и отрезвлению от всяческого опьянения»[80].

Как низок уровень политического понимания круга Тургенева! Как высоко стояли над ними Чернышевский и Добролюбов! Теперь это ясно каждому. У одних надежда на царя, на реформы свыше, у других — надежда на народ, на крестьянскую революцию. Достаточно сравнить статьи Чернышевского по вопросу о крепостном праве с высказываниями о нем Тургенева и его друзей, чтобы видеть, что между этими классовыми силами никакого примирения быть не может. Умный дворянин Тургенев понял это и из литературной статьи Добролюбова, статьи деликатной по форме, но острой, жгучей по своим политическим выводам. Как всем хорошо известно, Тургенев предъявил редактору «Современника» Н. А. Некрасову ультиматум: я или Добролюбов в журнале! В литературе, особенно мемуарной, постоянно подчеркивается, что статья Добролюбова не содержит в себе ничего оскорбительного для писателя и что последний покинул «Современник» якобы из-за своего каприза и личной неприязни к молодому критику. Мы думаем совершенно иначе. Конечно, в статье нет ругани по адресу Тургенева, нет даже случайных злых замечаний, но ведь окончательный вывод статьи убийственен: Тургенев, как писатель, кончился, он в прошлом, в умирающем прошлом, а в настоящее время нужны другие писатели, которые глубже, конкретнее могут обрисовать Инсарова и сблизить его с русским обществом и тем самым вызвать свежие классовые силы общества на революционную борьбу с самодержавием. Деликатно, но ведь Добролюбов ставит над Тургеневым крест. Что же это за писатель да еще передовой, который как раз и не чувствует и не улавливает новых веяний и новых людей жизни! Этого, конечно, стерпеть было нельзя. Тургенев видел торжество своего классового врага и работать с ним вместе, естественно, не мог. Сущность расхождения лежала не в характере лиц, не в их личных столкновениях, не в случайных и частных препирательствах, а в основном понимании исторического процесса! Тургенев, ожидая реформы только сверху, должен был убрать с дороги Добролюбова, который призывал революцию снизу. И наоборот. Принять же советы критика писатель не мог, они не отвечали классовым интересам сладенького умеренного ли-

[80] Тургенев и круг «Современника». «Academia» 1930 г., стр. 435.

берала. Как понимал Тургенев отношение к себе Добролюбова, метко формулировано в письме писателя к Анненкову по поводу смерти Добролюбова. Тургенев писал: «Огорчила меня смерть Добролюбова, хотя он собирался меня съесть живьем».

Русское общество сразу поняло смысл статьи Добролюбова. Одних она вместе с Тургеневым оттолкнула от «Современника», — других, наоборот, сплотила, спаяла. Неизбежный исторический процесс размежевания классовых сил, когда наступила пора политической активности в связи с так называемой крестьянской реформой. Особенно статья выделилась на фоне деятельности такого крупного человека, как Герцен, который в это время обнаруживал сильные колебания, часто становился на либеральные позиции и даже выступил враждебно против «Современника», против Чернышевского и Добролюбова.

Статья о «Накануне» не самая блестящая в литературном отношении, но она самая ясная и определенная в политическом смысле. В этом ее исключительное значение как для своего времени, так и для нас. Это своеобразный политический манифест, своеобразная программа действий, почему статья и начинается указанием, что Добролюбов «отказывается от роли воспитателя эстетического вкуса барышень». До эстетики ли тут, когда идет вопрос о вооруженной борьбе с самодержавно-помещичьей властью?

Как идеолог революционно-демократической интеллигенции, как идеолог крестьянской революции, Добролюбов провел через статью следующую политическую мысль: даже самые лучшие из либералов и реформаторов не в состоянии разрешить очередной исторической задачи. Нужны новые люди, новые герои, совершенно иные по своему складу характера, люди дела, а не пустых слов. Прообразом этих героев является болгарин Инсаров, русских Инсаровых еще нет, но они скоро будут, условия к тому складываются. И они поднимут вооруженное восстание за свободу своей родины, пойдут на смертную борьбу с царско-помещичьим строем. Критик похоронил, как историческую силу, либералов и твердо указал на новую революционную силу.

Когда Добролюбов, призывая к вооруженной борьбе, стал подрубать дерево, на котором сидели либералы и реформисты, тогда последние закричали «караул» и, отколовшись от «Современника», самого революционного в то время органа, пошли на соглашение с существующим порядком, возлагая надежды на царя, либерально начавшего свое царствование. Предвидя это, Добролюбов писал об этом еще в статье об обломовщине, поэтому он так решительно и расширял круг «лишних людей». Действительно, либералы как класс во времена Добролюбова уже были «лишними людьми». Отдельные личности не спасали этого класса.

Когда многие, боясь расколов в рабочем движении, надеясь, что меньшевики так или иначе будут служить пролетарской революции, говорили и писали о единстве рабочего движения, т. Ленин не убоялся расколов и в острые моменты борьбы в рядах Р. С.-Д. Р. П. всегда вскрывал предательскую роль меньшевизма, чем приводил многих в смущение, негодование и вызывал упреки в узости, фракционности. Кто оказался прав? Целиком, без всяких оговорок, оказывался прав т. Ленин. Он был гениальный прозорливец. За социалистической фразеологией меньшевизма он раньше всех и лучше всех разглядел неизбежное предательство меньшевизмом рабочего класса. Об этом он постоянно и усиленно предупреждал. Размежевывались, чтобы крепче сплотиться.

Так в свое время Добролюбов раньше чем кто-либо другой вместе с Чернышевским разглядел политическую сущность русского либерализма, его беспомощность, его предательскую роль в освобождении народа, т. е. в крестьянской революции. Он считал, чем скорее радикальная демократическая интеллигенция порвет с либерализмом, чем скорее его дискредитирует и оторвет от него все мало-мальски оппозиционно-настроенное, тем скорее и успешнее можно будет поднять знамя вооруженной борьбы народа с царем и помещиками.

Елена — накануне крестьянской революции, но «еще несколько колебаний, еще несколько сильных слов и благоприятных фактов, и явятся деятели» крестьянской революции.

Этого не сумел сказать либерал Тургенев, это разъяснил революционер, демократ Добролюбов.

V

Остановимся, наконец, на статье «З а б и т ы е л ю д и». Эта статья Добролюбова была всегда как-то в тени, а между тем она имеет серьезное политическое значение, хотя и мало прибавляет к тому, что сказано критиком раньше.

Как всегда, критик начинает с методологических рассуждений, с указаний, что есть писатели, «у которых художественное чутье, хотя бы даже и слабое, направлено здраво, в которых не только верно отражаются явления жизни, но которым доступен, более или менее, и общий таинственный смысл ее. Такие писатели становятся замечательными художниками, если их предприимчивость многобъемлюща, если жизнь открывается им не в отдельных явлениях, а во всем своем стройном течении, если чутки они не к одной только внешней стороне явлений, но и к их внутренней связи и последовательности. Тогда они создают что-

нибудь прочно остающееся в литературе и служат двигателями общественного создания»[81].

Чернышевский и Добролюбов не очень высоко ставили талант Достоевского. А Чернышевский его даже выругал. Но, чтобы привлечь к Достоевскому общественное внимание, Добролюбов, развивая свою мысль о характере писателей, продолжает: «Но и люди с более ограниченною восприимчивостью, с более слабым, только бы верным, чутьем, не проходят без следа и заслуживают внимания, если хоть одну черту разъяснили, или даже указали нам в этой жизни, которая у них перед глазами, всех задевает собою и, однакоже, так немногих наводит на серьезную думу, так немногими понимается»[82]. К этой второй категории писателей критик и относит автора «Забитых людей». Достоевский «не понял общий таинственный смысл жизни», во взятых им явлениях не уловил «внутренней связи и последовательности», но зато он показал нам галлерею средних, забитых жизнью людей, которые вызывают не только сожаление к своему страданию и положению, но и вызывают раздражение, негодование общественными условиями, их породившими. Достоевского принято считать писателем реакционным, это бесспорно. Общественный идеал писателя, как он отразился, например, в «Бесах», безусловно реакционен. И все же писатель не раз вызывал своим творчеством революционное настроение. Не надо учиться у Достоевского, но по Достоевскому учиться можно и даже должно, поскольку он вскрывает гнилостность и ненормальность существующего порядка вещей. А это писатель делает, вскрывая гнойные язвы общества, скорбя о боли человека, «который признает себя в силах или наконец даже не в праве быть человеком самим по себе»[83]. Писатель отыскивает примеры этого ненормального трагического положения, ищет выхода из бедственного положения. Достоевский, однако, не этим силен. Он силен тем, что «вопрос у него поставлен, и никто из читателей сам не может избавиться от этого вопроса после прочтения его повестей. Самый тон каждой повести — унылый, мрачный, болезненный — так и вышибает из сердца раздражительный вопрос, так и поднимает в нас какую-то нервную боль»[84]. Затем из повестей Достоевского видно, что у него есть свой общественный идеал, по которому «каждый человек должен быть человеком и относиться к другим как человек к человеку», а этого в жизни нет. Итак Достоевский привлекает Добролюбова тем, что так или иначе он ставит проблему равенства между людьми и показывает, что в современных условиях она неразрешима. Но что неразреши-

[81] Том V, стр. 156.
[82] Том V, стр. 156.
[83] Том V, стр. 156.
[84] Том V, стр. 157.

мо для реакционера Достоевского, то вполне разрешимо для революционера и демократа Добролюбова. Критик сосредоточивает свое внимание на негативной стороне творчества писателя. В характере лиц, выводимых писателем, критик хочет найти ответ на основной свой вопрос: «Где причина всех этих диких, поразительно странных людских отношений? В чем корень этого непонятного разлада между тем, что должно бы быть по существенному, разумному порядку, и тем, что оказывается на деле?»[55]. Насколько дики человеческие отношения, на этой стороне вопроса критик не останавливается. Это прекрасно выполнил сам писатель,—критик ищет корни всей этой дикости и находит их конечно, со своей классовой точки зрения. Но, чтобы кто-нибудь из противников не упрекнул Добролюбова в критике по поводу, в «навязывании художнику» своих «утилитарных тем», он указывает, что так как художественная литература никогда «не достигает действительно художественного значения» и имеет лишь «практический смысл», то и он своей критике придает «несколько практический характер». Мы бы сказали — целиком практический характер, поскольку своей статьей на анализе героев повестей он вскрывает корни диких общественных отношений и намечает выход из них.

Необходимо отметить органическую идейную связь между статьями об Островском и Достоевском. Тут и там критик ставит проблему «загнанных», «запуганных», «забитых» жизнью людей. Тут и там критик зовет к решительной борьбе с создавшимся положением всех, в ком осталась хоть капля понимания ненормальности существующего порядка вещей.

Добролюбову кажется: «дело простое, — человек родился, значит, должен жить, значит, имеет право на существование; это естественное право должно иметь и естественные условия для своего поддержания, т. е. средства к жизни. И так как эта потребность — потребность общая, то и удовлетворение ее должно быть одинаково общее для всех без подразделений, что вот, дескать, такие-то имеют право, а такие-то нет. Отрицать чье-нибудь право в этом случае — значит отрицать самое право на жизнь. А если так, то в пределах естественных условий решительно каждый человек должен быть полным, самостоятельным человеком и, вступая в сложные комбинации общественных отношений, вносить туда вполне свою личность, и, принимаясь за соответственную работу, хотя бы самую ничтожную, тем не менее — никак не скрадывать, не уничтожать и не заглушать свои прямые, человеческие права и требования»[56].

А ведь забитые люди Достоевского «жалки», «робки», у них «дрожат коленки», они стыдятся за свою жизнь». «Забитый.

[55] Том V, стр. 163.
[56] Том V, стр. 161.

тощий пес Улисса, с воем и ласкою встречающий своего господина, неизмеримо ближе и равнее с ним, нежели этот чиновник (Девушкин. — В. П.) с благодетельным его превосходительством»[87]. И все это из-за того, что в жизни существует между людьми разделение, «установившаяся иерархия», на одном конце ее командующие классы, а на другом «забитые люди», дрожащие за свое существование. Самое страшное для критика не то, что эта ужасная иерархия существует, а то, что «все при ней сознают себя счастливыми и довольными». Несчастный Девушкин «счастлив собственным унижением и в умилении молит бога простить ему «ропот и либеральные мысли», которые он позволял себе подчас в прежнее время». Подчеркивая, что современная государственная теория считает государство, если в нем каждый доволен своим местом, образцовым, критик со свойственной ему иронией пишет: «Все были бы на своих местах. Одни ездили бы в колясках, жили в великолепных палатах, занимались распеканиями других, другие ходили бы пешком по грязи, в дырявых сапогах, жили в сырых углах и получали распеканции, — но те и другие одинаково были бы спокойны и довольны своей участью. Те и другие существовали бы рядом, друг подле друга, так же безмятежно, как существуют дуб и крапива, хотя и отнесенные Линнеем к одному разряду по его системе, но нимало не помышляющие о соблазнительном равенстве друг с другом»[88]. Далее критик вскрывает, что эта насильническая государственная теория «проводилась в разных учреждениях, преподавалась в школах, проповедывалась в церквах монахами разных орденов, проникала даже в домашнее воспитание, захватывая таким образом человека в самые нежные, самые впечатлительные его годы... Большинство принимало теорию, не имело ничего сказать против нее», но всегда находились люди, которые не успокаивались на этой теории, чего-то искали другого, происходили столкновения, — надо понимать, что критик имеет в виду революции, — «и все взволновано, и идеал непрерывной тишины взлетел прахом на воздух».

Заслуга Достоевского и заключается в том, что «от него не ускользнула правда жизни, и он чрезвычайно метко и ясно положил грань между официальным настроением, между внешностью, форменностью человека и тем, что составляет его внутренне существо, что скрывается в тайниках его натуры и лишь по временам, в минуты особенного настроения невольно проявляется на поверхности»[89]. Словом, Добролюбов ценит Достоевского за то, что он раскрывает, что современный общественный порядок не

[87] Том V, стр. 168.
[88] Том V, стр. 171.
[89] Том V, стр. 147.

соответствует требованиям человека, если за ним признать право на существование.

Разбором повести «Слабое сердце» критик показывает, что «идеальная теория общественного механизма с успокоением всех людей на своем месте и на своем деле вовсе не обеспечивает всеобщего благоденствия». Он рассуждает о том, что может быть исторически такой порядок и оправдывается. Согласно с «естественной инерцией человека» он привык к тому, чтобы «о нем кто-то заботился», за него решал и даже «его мысли устраивал», но теперь общество вышло из своего состояния младенчества, «высокие добродетели слепой, безумной преданности, безусловного доверия к авторитетам, бдительной веры в чужое слово — становятся все реже и реже; мертвенное подчинение всего своего существа известной формальной программе и в ордене иезуитов осталось едва ли не на бумаге только. «Естественная человеку инерция» признается уже каким-то отрицательным качеством, вроде способности воды замерзать; напротив, на первом плане стоит теперь инициатива, т. е. способность человека самостоятельно, самому по себе браться за дело, — и о достоинствах человека судят уже по степени присутствия в нем инициативы и по ее направлению. Все как-то стремится стать на свои ноги, и жить по милости других считает недостойным себя. Такое изменение тенденций произошло в обществах новых народов Европы с конца прошлого столетия. Можем сказать, что изменение это не миновало отчасти и нас»[90]. Добролюбов не только раскрывает дикость современных отношений в обществе, но показывает, что в Европе это дикое положение изменилось в конце прошлого столетия, т. е. со времени Великой французской революции, которая как-то задела и Россию. Всеми своими рассуждениями он воздействует на читателя, парализуя его пассивность, призывая к инициативе, т. е. к изменению общественных условий, к революционной борьбе, иначе критик и не намекал бы на «конец прошлого столетия». Добролюбов дал убийственную характеристику общественному строю, этот строй вызывает одно отвращение, но он не дал широко развернутой социалистической схемы общественных отношений, хотя проблема поставлена по-социалистически и глубоко, поскольку на творчестве Достоевского критик показал, как существующий порядок вещей убивает человека не только физически, но и морально, и нужен такой порядок только привилегированным классам. Такие общественные отношения целые группы людей превратили в «грязную ветошь», но «в самых грязных складках этой ветоши сохраняются и чувство и мысль, — хоть и безответные, незаметные, но

---

[90] Том V, стр. 189.

все же чувство и мысль». На героях Достоевского критик это положение вещей и вскрывает.

Читатель должен был заметить, что разобранные нами основные статьи критика всегда имеют серьезную критику общественных отношений, а затем указываются пути и средства изменить ненормальности человеческого общества. Так и в данной статье. Показывая, что Достоевский «в забитом, затерянном, обезличенном человеке» отыскивает и показывает нам живые, никогда не заглушенные стремления и потребности к лучшей жизни, показывая, как Голядкин и Девушкин мучаются в силу одних и тех же «общих причин» — в силу разлада требований человечности с «официальными требованиями его положения», в силу «официальных основ жизни с ее действительными требованиями», критик ищет выхода. Критику очень хотелось бы раскрыть со всей полнотой, как люди обращаются в ветошку, чтобы лучше было видно, с чем бороться и какие меры наиболее действительны, но он вынужденно предупреждает, чтобы проницательный читатель «не ждал решительных объяснений: для них еще время не пришло». И дальше он все же показывает, как с детства человека опутывают известной философией и моралью, чтобы он признал законность и разумность существующего порядка. В статье о «Накануне» Добролюбов вскрыл это на автобиографическом материале, в данном случае на показе героев Достоевского. Оказывается: «человек поглощается и уничтожается общим впечатлением того механизма, которого он не в состоянии даже обнять своим рассудком»[91]. Люди гибнут, сходят с ума, с ними «жар и бред», но выхода из положения они не находят. Ихменев затеял с князем процесс, «чувствует старик, что несправедливо, оскорбительно, бессовестно» продают с аукциона деревню, но... ничего не поделаешь! Все идет «по законному порядку. Порядок этот оказывается в пользу князя». Да и «не в князе тут сила, а в том, что каков бы он ни был, он всегда огражден от всякой попытки Ихменевых и т. п. своим экипажем, швейцаром, связями, наконец даже полицейским порядком, необходимым для охранения общественного спокойствия»[92]. Вывод политически ясный, чтобы восстановить справедливый, нормальный порядок человеческих отношений, — надо уничтожить полицейский порядок, т. е. разрушить государство, которое держится на этой полицейской силе. Разрушить эту машину не так легко. «Кто же теснит и давит Макара Алексеевича? Обстоятельства! А что делать против обстоятельств, когда они сложились так прочно и неизменно, так неразлучны с нашим порядком, с нашей цивилизацией? В делах с князем установлены «церемонии и условия»,

---

[91] Том V, стр. 200.
[92] Том V, стр. 203.

их приходится соблюдать, а они всегда «в пользу князя». Значит, преодолеть обстоятельства, цивилизованного князя (олицетворение существующего порядка) можно только с нарушением «установленных церемоний и условий», т. е. революционным путем, лишив князя, сильных мира, их экипажей, швейцаров, законов, охраняющих их и т. п., т. е. лишив их богатства и власти, поставив в такие условия существования, чтобы человек не мог иначе относиться к другому человеку, как равный к равному, «как человек к человеку». Чтобы заставить читателя задуматься над положением и взаимоотношениями князя и Ихменева, чтобы перенести читателя к общественным отношениям, Добролюбов снова просит читателя не ждать от него «подобных объяснений» по этому вопросу.

Добролюбов показывает, как в героях писателя вспыхивает моментами сознание своего положения и быстро гаснет, а человек ограничивается «больше вздохами да пустыми мечтами». Констатируя это, критик подчеркивает, все это зависит от общих условий человеческого общежития; они «развивают в человеческом обществе инерцию, в ущерб деятельности и подвижности сил». Получается как бы заколдованный круг.

Общество поработило людей, часть людей чувствует существующую несправедливость, но не может преодолеть этого, так как общественные условия не дают развиться соответствующим характерам. Значит, сильнее надо проявить инициативу, т. е. революционное наступление на самодержавно-крепостнический строй. Критик сознает, что положение трудное; он даже менее решительно, чем в других случаях, говорит о выходе из создавшегося положения. Он говорит: «не знаю, может быть, есть выход». «Где этот выход, когда и как — это должна показать сама жизнь». Верный фейербахианскому материализму, критик призывает своего читателя: «главное, следите за непрерывным, стройным, могучим, ничем не сдерживаемым течением истории, и будете живы, а не мертвы» [93].

Добролюбов — представитель общественной критики, и, естественно, он должен был дать читателю ответ на вопрос: где выход? Прежде всего он указывает, что многое сделала уже сама жизнь», «только это многое не формулировано»; что сделала жизнь, это видно по статьям о Гончарове, Островском и Тургеневе. Правда, и там многое не формулировано критиком, цензурная власть настолько была строга, что и самое упоминание о том, что многое не формулировано, в свое время было выкинуто. Самое важное то, что общество от либеральной болтовни перешло к демократическому делу, что стали появляться нужные характеры, что эти характеры идут из рядов самой массы, что эти новые ха-

[93] Том V, стр. 204.

рактеры имеют нужные задатки вождей революционной борьбы. Но ведь вожди появляются только тогда, когда есть соответствующие условия, когда есть масса, которую можно вести. В данном случае критик и останавливается, так сказать, на вопросе о массах. Он прямо заявляет: «Мы нашли, что забитых, униженных и оскорбленных личностей у нас много в среднем классе, что им тяжко и в нравственном и в физическом смысле, что, несмотря на наружное примирение со своим положением, они чувствуют его горечь, готовы на раздражение и протест (разрядка наша. — В. П.), жаждут выхода»[94]. Если вспомнить статью об Островском, в частности статью о «Грозе», в которой Катерина как женщина символизирует самые низшие угнетенные классы, то выходит, что низшие и средние классы не только не могут жить в данном обществе, но уже как бы готовы на протест, т. е. на решительную схватку с самодержавно-крепостническим строем. Несомненно, Добролюбов смотрит на вещи слишком оптимистически. В данном случае важно другое: он находил, что все складывается благоприятно для революционной борьбы, есть громадная масса, готовая на протест и даже уже протестующая, хотя и слабо, и появляются вожди, нужные люди, которые могли бы объединить эту массу. Раз у героев Достоевского есть общее стремление к восстановлению человеческого достоинства и «полноправности во всех и каждом», значит — это есть, согласно теоретическим взглядам критика, и в самой жизни, в низшем и среднем классах. Такое положение дает воодушевление, оно дает много уверенности и сил в предстоящей борьбе. Оно как раз разбивает ту слабохарактерность, то приниженное состояние, которое рисует писатель. Общее стремление и готовность к протесту в среднем и низшем классах! Это ли не залог успеха в борьбе за новые общественные отношения?! Сам критик понимает, что в этом общем чувстве громадной части людей «здесь уже и открывается выход из горького положения загнанных и забитых» людей.

Следовательно, в своей статье Добролюбов выполняет не только разрушительную функцию, критикуя современные отношения людей, но и положительную, организационную. Силе старого порядка противостоит общество, вышедшее из младенческого возраста, средние и низшие классы которого ищут выхода для себя и готовы на борьбу. Все недовольные своим положением, следовательно, должны объединиться. Но критик понимает, что «собственными усилиями» они ничего еще не могут сделать. Нужны люди более сильные, еще не униженные и не разбитые до сознания своего ничтожества, а понимающие положение дел. Эти люди, «имеющие достаточную волю инициативы», должны

[94] Том V, стр. 204.

воспользоваться положением «забитых людей», их правом на «жизнь и счастье», чтобы добиться всеобщего удовлетворения естественных потребностей, т. е. уничтожить общество на основе «установившейся иерархии», торжествующей на принципах собственности и законности, о чем Добролюбов подробно говорит в статьях о комедиях Островского. Иначе критик звал людей инициативы, революционеров, объединить общее недовольство и общий протест, разрушить собственность и пресловутую законность, поддерживающую «иерархию» и защищающую ее навсегда, а на развалинах старого общества создать новый порядок общечеловеческих отношений, социалистическое общество. Он знал революционно настроенное молодое поколение, «имеющее в себе достаточную волю инициативы», т. е. революционной решимости, «вникнуть в положение дела». Он указывал, что «полезно знать, что большая часть этих забитых, которых они считали, может быть, пропавшими и умершими нравственно, все-таки крепко и глубоко хранят в себе живую душу и вечное и неисторжимое никакими муками сознание своего человеческого права на жизнь и счастье» [95]. Иначе революционеры-демократы должны обратить серьезное внимание на низшие задавленные слои мелкой буржуазной интеллигенции. Это нужный материал для борьбы. Как мрачно и безнадежно ни описывал своих героев Достоевский, разделив их на «кротких и ожесточенных», однако критик нашел, что «Макар Алексеевич для своего образования является слишком метким оценщиком противоречий официальных основ жизни с ее действительными требованиями» [96], Голядкин «сходит с ума совершенно по тем же общим причинам, — вследствие неудачного разлада бедных остатков его человечности с официальными требованиями его положения» [97].

Критик считает, что роман Достоевского «Униженные и оскорбленные» не настолько художественен, чтобы он мог быть «предметом подробного эстетического разбора». Заслуги художника в другом, в том, что «он открывает, что слепой не совсем слеп; он находит в глупом человеке проблески самого ясного здравого смысла, в забитом, потерянном, обезличенном человеке он отыскивает и показывает нам живые, никогда не заглушаемые стремления и потребности человеческой природы, вынимает в самой глубине души затерянный протест личности против внешнего, насильственного давления» [98]. Политик не должен гнушаться этой массы, он должен суметь использовать каждую искру протеста, раздуть ее из-под пепла.

---

[95] Том V, стр. 205.
[96] Том V, стр. 176.
[97] Том V, стр. 171.
[98] Том V, стр. 165.

Достоевский показал общественную группу «забитых людей». Не видя выхода из тупика жизни, художник своих героев умертвил, свел с ума, Добролюбов поправил художника. Он подтвердил выводы художника, что жизнь действительно полна «забитыми людьми», что их несчастье глубоко, оно коренится в самой основе общественного порядка и всей цивилизации вообще. Но, поскольку в среднем и низшем классе, несмотря на все, сильна готовность на протест, люди инициативы, революционеры, должны использовать этот общий протест, чтобы стереть с лица земли собственническую цивилизацию и государство привилегированных классов, а взамен создать новое общество, в котором процветали бы «естественные» отношения людей, не было бы богатых и бедных, командующих и подчиненных. Как это сделать, покажет жизнь: она намечает пути борьбы и приоткрывает перспективы победы, жизни вне «установившейся иерархии».

Профессор Е. В. Аничков, различая в критической деятельности Добролюбова два периода, даже различных по своим критическим установкам, указывает, что «забитые люди» относятся ко второму периоду, и упрекает критика, что в сущности он повторяет старые мысли, высказанные в предыдущих статьях. Он пишет: «Конечно, надо было повторять все то же. Эта драма между людьми «забитыми и сильными» и есть основная драма жизни, и в особенности русской жизни. Но разве только это в произведениях Достоевского, хотя бы того времени? Разве дело в этой слишком элементарной проблеме, а не в ее художественном и философско-психологическом понимании, таком различном у Островского и у Достоевского. Мысль Добролюбова как критика перестала развиваться» [99].

Проф. Аничков обнаруживает величайшее непонимание Добролюбова. Он не усвоил основной мысли критика, что как в художественном творчестве, так и в критике надо искать прежде всего «практических» указаний в общественной борьбе. Эти указания он нашел и у Островского и у Достоевского. Правда, в «забитых людях» много мыслей, высказанных ранее, но отсюда нельзя делать вывода, что мысль критика остановилась в своем развитии. Проф. Аничков хочет, чтобы критик остановил свое внимание на художественной и философско-психологической стороне, тут между Островским и Достоевским действительно глубокая разница, но ведь критик и художественность, и философию, и психику всегда разбирал и разбирает в данном случае в свете социологическом и только в нем, в свете классовой борьбы сильных и слабых. Для проф. Аничкова это была элементарная проблема, которую он задвигал на задний план, ставил после

[99] Том V, стр. 8. Вступительный очерк. «Последние критические статьи».

философско-психологических; для нас, как и для Добролюбова, это не элементарная проблема, а самая насущная проблема. Величайшая заслуга критика именно в том и состоит, что он искал разрешение этой проблемы в творчестве Достоевского, не ушедши в разбор художественности, философских взглядов автора и психологических переживаний его героев. Как всегда, критик сумел от отдельных характеров подняться до широкого обобщения, от Девушкина и Голядкина, Ихменева он поднялся до протеста среднего класса. Эта мысль, особенно по тем временам, далеко не элементарна. Наоборот, она оказалась не по силам даже проф. Аничкову, выпускавшему сочинения Добролюбова в десятых годах XX столетия. Конечно, между героями Островского и Достоевского глубокая разница как в их общем положении, так и в их взглядах и настроениях. Можно сожалеть, что критик не сделал общественной параллели между этими двумя общественными группами. Параллель несомненно была бы интересна и глубоко поучительна. Сожалеть можно, можно даже строить всякого рода гипотезы о том, почему критик не сделал этого, — потому ли, что он был сильно болен и у него не хватило физических сил или времени, или почему-либо еще, но нет никаких оснований говорить о приостановке развития мысли критика. В самом высшем обобщении социалистические выводы из разбора комедий Островского и повестей Достоевского тождественны, — нарастает общий протест угнетенных классов против командующих классов. Этот протест — залог победы, и люди революции должны этот протест оформить, превратить в крепкий удар против самодержавно-крепостнического строя жизни и создать социалистическое общество. Нельзя забывать и того, что Добролюбов писал свою статью о Достоевском, уже стоя одной ногой в гробу, разбитый, замученный своим недугом и тяжестью жизни, из которой так мучительно и так страстно искал выхода. Наконец повести Достоевского и не давали критику материала для каких-либо новых политических выводов. Разменивать же общей основной политической задачи на частные он, как революционер, не мог, это не соответствовало его политическим взглядам; весь прогресс русской жизни он обусловливал разрушением самодержавно-крепостнического порядка.

Вздор пишет профессор Аничков и об эстетических установках. Добролюбов их не изменил. Аничков пересказывает критика так: «художник умеет уловить в каждом предмете что-нибудь близкое и родственное своей душе». «Наблюдательность, верное отображение и отсюда — возможность судить о жизни через посредство искусства». Действительно, и Чернышевский и Добролюбов строили свою эстетику на этих двух основных принципах. Однако проф. Аничкову мы должны заметить, что он взял не самые яркие и отчетливые формулировки. Но не в этом дело,

дело не в словах, а в общем смысле. Проф. Аничков думает, что впоследствии, во второй период, Добролюбов отошел от этих принципов, потребовав у художников слова повестей и романов — притч! Но это решительно ниоткуда не видно. Как раз критик хвалит писателя и за его наблюдательность и за верное изображение, он ценит автора за то, что он уловил «во всяком предмете» близкое и родственное своей душе. У Достоевского есть общественный идеал — «каждый человек должен быть человеком и относиться к другим, как человек к человеку». Длительнее и глубже эту формулу критик не расшифровывает. В данном случае это ему и не нужно было. Он принимал у Достоевского общую постановку задачи, ни в какой мере не разделяя его конкретных социальных взглядов. Достоевский нужен был Добролюбову только одной стороной своего творчества.

В своем творчестве Достоевский излил душу, отразил свою боль о человеке, который признает себя не в силах или даже наконец не в праве быть человеком настоящим, полным, самостоятельным человеком самим по себе. Критик слишком верен своим критическим установкам, уклоняясь от эстетической критики, указывая, что Достоевский дал одну общую черту, а «не всю глубину жизненной правды», на что у него не хватило дарования и в силу чего его рассказы нуждаются в дополнениях и комментариях. Естественно возникает вопрос, как же это Аничков не доглядел такой простой вещи. Подобные происшествия бывают нередко, и зависят они от взгляда впадающего в ошибку. Добролюбов был последователен и верен себе до последней статьи. Аничков же не понял того, что критик разумел под «душой» художника, упустил из виду, что эта «душа» изменяется в зависимости от целого ряда социальных условий. Под душой художника критик разумел его мировоззрение, его политические взгляды; истинными художниками он считал тех, которые отстаивают интересы народа и которым доступен «общий таинственный смысл жизни», а творчество других художников, поддерживающих искусственные отношения людей, хотя бы они субъективно и не лгали, объективно ложно, потому что им недоступен «общий таинственный смысл жизни». Действительно, за последние годы своей литературной деятельности Добролюбов много говорил о мировоззрении художника и этим мировоззрением, «душой» художника обусловливал достоинство творчества. Никакого отступления от прежних принципов эстетики нет, нет и никаких новых эстетических установок. Просто критик, в силу определенных политических задач, требовал большей определенности от «души» художника, требовал, чтобы взгляды писателя отвечали народным интересам. Эстетическая установка осталась прежняя; видоизменилось, стало настойчивее и определеннее требование «души» художника, но это уже вопрос другой, вопрос в данном

случае второстепенный, вопрос мировоззрения, политики, но не чистой эстетики, — о которой пишет проф. Аничков. Добролюбов стал приближаться к классовой точке зрения, а проф. Аничков этого и не понял, увидев в росте социального сознания критика остановку в развитии и требование тенденциозных притч, хотя от такого понимания предостерегал сам Добролюбов, и даже в статье о «забитых людях» он писал: «не говорю, чтобы художник задавал себе задачу, а чтоб у него отразилась, разрешилась она сама собою, хотя бы неведомо для него, — а то опять скажут, что я навязываю художнику утилитарные темы»[100]. Запутался проф. Аничков потому, что он оказался эклектиком, либералом. Этот человек должен был бы современную пролетарскую литературу считать насквозь тенденциозной, а самих писателей людьми, которые не только остановили развитие эстетики, но и намного отстали от сделанных ранее завоеваний. Мы же думаем, что пролетарская литература, при всех своих чисто эстетических недостатках, постигает «общий таинственный смысл в жизни», ведет человечество к коммунизму, и в этом ее общественная значимость. Все это либералу Аничкову совершенно недоступно, убеждать его в этом невозможно, потому что его «душа» иного склада, не только не марксистская, но и далеко не та, которой искал у писателя Добролюбов.

Добролюбов к концу своей жизни не изменил ни своим политическим, ни эстетическим взглядам, истинного художества не подменивал тенденциозным и притчами, он только, как идеолог крестьянской революции, в полном согласии с «таинственным смыслом» жизни требовал, чтобы литература служила этой крестьянской революции, а не господствующим классам. В этом смысле он был тенденциозен, но это была здоровая тенденция, согласованная с ходом истории; за это мы любим и чтим критика; это не было извращение действительности в угоду предвзятой идеи, как думает проф. Аничков. В силу своей классовой либеральной установки проф. Аничков сам в высшей степени тенденциозно подошел к Добролюбову, снижая его работы второго периода. Мы же констатируем, — поскольку Добролюбов стал сближать содержание литературы с интересами крестьянской революции, — он поднялся на самую высшую ступень общественного сознания, на какую только можно было подняться в условиях тогдашней действительности.

Проф. Аничков закончил свой очерк «Последние критические статьи» словами: «Различие между прежними и последними взглядами Добролюбова и сводится к тому, что мерку, основанную на внутреннем чувстве правды, заключающейся в художественных произведениях, он применил к рассказам-притчам. Тут

---

[100] Том V, стр. 145.

расхождение публицистики и художественной критики в тесном смысле»[101]. Бедная либеральная мысль! Она никак не могла понять, что у Добролюбова и публицистика и художественная критика в тесном смысле составляли единое, органически целостное, стройное, последовательное мировоззрение, — что и устраняло всякие противоречия и расхождения. Они были только в голове либеральствующего профессора, но не в практике революционера-критика Добролюбова. Свою политическую ограниченность и методологическую беспомощность вскрывает проф. Аничков сам, конечно, не подозревая этого. Он пишет: «вывод из последних статей Добролюбова был и мог быть только один: признание законности направленства в произведениях искусства. И мало того, только шаг от того, чтобы сказать: направление важнее, чем художественное совершенство»[102]. Бедный! в своей профессорской мудрости он и не подозревал, что он возносил Добролюбова на пьедестал и приближал его к тем, кто литературное творчество и литературную критику рассматривает в свете классовой борьбы, что не дано либеральному мышлению, блуждающему в эмпиреях абстрактного идеализма.

VI

Литературно-критическая деятельность Добролюбова, как видит читатель, сводилась к тому, чтобы вскрыть весь ужас самодержавно-крепостнического строя, вызвать к нему острую ненависть и стремление его разрушить в самом основании. Для этого нужны соответствующие силы. Где они? Либералы и реформаторы пусты, жалки, они способны говорить, но не делать. Классовые интересы не позволяют им итти до конца вместе с народом, они ему изменяют, идя на соглашение с существующим порядком. Этот порядок может разрушить только сам народ, своими силами, все обездоленные, угнетенные, оскорбленные и униженные. Сильный существующий порядок таит в себе разложение, забитый народ хранит в себе зреющие силы, в нем растет протест. Но нужны люди, которые бы сумели этот протест и эти зреющие силы объединить на борьбу. Эти люди уже идут в жизнь. Это революционная демократия. Под знаменем крестьянской революции она сотрет самодержавно-крепостнический строй, и тогда при политических свободах демократической республики можно будет поднять борьбу на высшую ступень, т. е. развернуть борьбу за социалистическое общество.

---

[101] Том V, стр. 14.
[102] Там же.

Ф. П. Шиллер

ГЕЙНЕ И МАРКС

I

О взаимоотношениях, установившихся в 1843—1844 гг. и позднее между Гейне и Марксом, существует уже довольно большая литература, но, к сожалению, ни сам Маркс, ни Энгельс не оставили нам, как они намеревались, подробного анализа этих отношений.

Год спустя после смерти Энгельса, в «Neue Zeit» появился такой анализ, причем отношения эти были даны в библиографическом, личном разрезе, как чисто мещанские, до приторности слащавые, никакого касательства якобы к политике не имеющие. Автор этой статьи, Каутский, филистер до мозга костей, и тут остался верен себе — иных отношений между величайшими мыслителями и гениальнейшим поэтом XIX века он и представить не мог.

Впервые правильное по существу исследование в этой области дал Ф. Меринг. Центральным пунктом этого исследования является оценка Берне в связи с шумом, поднятым немецким филистерством против Гейне, когда тот опубликовал свою книгу о Берне (1840). Меринг правильно ставит вопрос не в плоскости личных качеств обоих писателей и раздоров между ними, но сравнивает их мировоззрения и показывает нам глубокое их различие, скрывающееся под зачастую отталкивающей полемической формой. Нам становится ясным, почему Маркс мог быть только на стороне Гейне, а не Берне. Из всех литературно-исторических и критических статей Меринга статьи о Гейне принадлежат в смысле полноты содержания к наилучшим.

Но в своей оценке Меринг-марксист долгое время оставался одиноким [1]. Как при жизни поэта, так и после его смерти, вплоть до настоящего времени имя его являлось символом борьбы и, может быть, эта борьба вокруг смысла творчества Гейне никогда не разгоралась так жестоко, как именно в наши дни, в эпоху, когда мировой капитализм делает при помощи фашизма последнюю попытку отстоять свою власть, и революционный пролетариат соби-

[1] Настоящая статья была написана в феврале 1931 г., к семидесятипятилетию со дня смерти Гейне; с этого времени в наших журналах появился ряд статей критиков-марксистов о творчестве Гейне.

рает свои силы для нанесения последнего удара, лишь только наступит для этого надлежащий момент. Нет ничего удивительного в том, что в такой период спор о Гейне и в частности о его взаимоотношениях с Марксом в особенности обострился. Чрезвычайно рьяно на него нападают, как и следовало ожидать, фашисты всех национальностей и всех мастей, разрушают памятники Гейне, причем они стараются подвести под свою ненависть к интернационалистскому революционному поэту «теоретические» и «принципиальные» основания. По их словам, оправданием для площадной ругани, которой они осыпают Гейне, являются... расовые различия: Гейне якобы представляет собою международное знамя «зловредного» семитизма и пр. и т. п. Из довольно большой фашистской литературы, посвященной Гейне, остановимся, как на примере, на одной книге, специально посвященной Гейне и Марксу, — книге, опубликованной сначала в виде серии статей в весьма солидном буржуазном французском журнале[1] и претендующей на «научность». Мы останавливаемся на этой книге еще и для того, чтобы показать всю псевдо-научность трудов фашистских историков и теоретиков литературы, чтобы вскрыть их халтурность, неграмотность, сознательную фальсификацию событий, дат и т. д. Так вот, — автор этой книги[2], воинствующий французский фашист, рассматривает III Интернационал — как и вообще I, II и III Интернационалы и все социалистические и коммунистические партии всех времен и всех стран — как «еврейские» организации, преследующие цели осуществления «неомессианства». Прародителем же всех этих организаций оказывается основанное в 1819 г. в Берлине Леопольдом Цунцем «Еврейское общество для распространения культуры и науки», а апостолами этого общества были Гейне и Маркс! Гейне, видите ли, был изгнан в 1831 г. из Германии за «антихристианские» статьи. «Преследуемый, он бежал во Францию 1 мая 1831 г. Позже по предложению его друга Энгельса[3], годовщина этой «геджры» первого вождя коммунизма должна была праздноваться всемирным пролетариатом! Много крови пролилось с 1 мая 1889 (дата установления революционного Первого мая) в память счастливого бегства Генриха Гейне»! в Париже Гейне работал якобы много среди эмигрантов по распространению идеи «Еврейского общества», — но эта деятельность достигла наибольшего успеха лишь тогда, когда на помощь Гейне то же Ев-

---

[1] Sallust: Henri Heine et Karl Marx. Les origines secrètes du bolchevisme („Revue de Paris", 35-е année, 1928; № 11, стр. 567—589; № 12, стр. 900—923; № 13, стр. 153—175.)

[2] В 1930 г. статьи Саллюста вышли под этим же заглавием отдельной книгой.

[3] Саллюст утверждает, что Энгельс происходит из старинной семьи раввинов в Бармене, и ехидно замечает, что большевики стараются сделать его не евреем, чтобы придать теории коммунизма „благородное происхождение".

рейское общество послало в Париж великого «разрушителя» — Карла Маркса[1]. Теперь началась колоссальная борьба между семитами и арийцами в тайных революционных организациях. Представителем арийцев служит А. Руге, «глава молодой Германии» (!), секции «Молодой Европы», основанной Мадзини. Руге просидел 6 лет в тюрьме за свой «карбонаризм» (так Саллюст переводит буршеншафт (!!). Высланный за революционную деятельность в 1840 г. (!) из Германии, Руге основал в Париже в этом же году (!) «Немецко-французские ежегодники»[2]. Раскол между Марксом и Руге в 1844 рассматривается как борьба всех «молодых евреев» в редакции (Маркс, Энгельс, Гейне и др.) против «единственного арийца». Удалив Руге из Франции (!), «Маркс и Гейне блестяще выполнили первую часть программы Еврейского общества: они не только избавились от Руге, но в то же самое время они завладели тайными организациями, которые ими были использованы в целях и неомессианской пропаганды». И вся дальнейшая деятельность Маркса в Интернационале и т. д. служила этой пропаганде, а ученики Маркса, Энгельса и Гейне поныне продолжают ее» (!!!).

II

Эта легенда бросает яркий свет на современное состояние западно-европейской и особенно фашистской «науки». Вернемся теперь к первоначально поставленной нами задаче, — именно: вскрытию тех проблем, которые связаны с взаимоотношениями между Марксом и Гейне. За последние годы в нашей советской литературной критике появился ряд статей, либо целиком посвященных этой теме, либо затрагивающих этот вопрос[3]. Нужно, однако, сказать, что, несмотря на ценность этих работ, впервые делающих доступным широкой массе читателей целый ряд документов, они все же по существу, по сравнению с Мерингом, дали мало

---

[1] Маркс, по Саллюсту, родился не в 1818 г. „как часто ошибочно утверждают“, а в 1814 г. (!!). Отец Маркса „создал себе значительное состояние в торговле“. Молодой Маркс слушал в Берлине Гегеля, сделался „еврейским пантеистом“ и, по протекции младогегельянцев, „профессором философии в Бонне“ (!): ему посчастливилось больше чем Гейне“!

[2] Советские биографы, жалуется Саллюст, представляют дело таким образом, якобы Руге был еще сотрудником Маркса в Рейнской газете и вместе с ним эмигрировал в Париж, где они основали совместно „Немецко-Французские ежегодники“. И Саллюст поучительно добавляет: „Между тем, Маркс приехал в Париж в 1844 г., а Арнольд Руге обосновался там в 1840... Маленькая неточность, среди многих других, имеющих целью скрыть от нескромных вопросов таинственные стороны жизни и деятельности Маркса“. И такую невежественную макулатуру печатают в „солидных“ буржуазных журналах!

[3] См ст. Е. Книппович, Генрих Гейне и Карл Маркс. „Красная Новь“, 1930, кн. 8; Ал. Дейч, Гейне и Маркс. М. б-ка „Огонек“, 1931 г. Н. Бухарин Гейне и коммунизм. „Большевик“, 1931 г., № 9 от 15 мая 1931 г.

нового. Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы, с одной стороны, не касаясь известных уже биографических данных, пополнить некоторыми новыми данными картину этих взаимоотношений и, с другой стороны, рассмотреть связанные с ними вопросы. Первым обстоятельством, сблизившим Маркса с Гейне, был скандал, вызванный опубликованием книги Гейне о Берне. Нужно заметить, что не только «тогдашний» немецкий филистер, но даже современные немецкие «лево-радикальные» демократические историки и критики называют эту книгу «тошнотворно-мстительным памфлетом». Если бы мы, подобно им, интересовались чисто личными взаимоотношениями между Берне и Гейне, не видя за ними борьбы двух мировоззрений, то, конечно, и мы бы возмущались выставлением на показ интимных, никому не нужных подробностей из семейной жизни Берне и т. д. Но Берне всю жизнь оставался ограниченным мелкобуржуазным революционером, совершенно не понимавшим революционного значения, например, Гете и Гегеля, выступавшим против них за их «приспособленчество», против «холопа в рифмах и без рифм». Точка зрения Берне поразительно напоминает взгляды на Гете и Шиллера современных немецких «честных революционеров», ультралевых анархо-индивидуалистов. Совершенно иначе смотрел на них Гейне, как мы это увидим ниже. Эта противоположность во взглядах Берне и Гейне опять-таки конечно не личного характера, а коренится в глубинах их мировоззрений. И несмотря на то, что оба писателя после первого знакомства в 1827 г. во Франкфурте н/М. по достоинству оценили друг друга, это противоречие не могло не проявиться при более длительном общении обоих, когда они после июльской революции очутились в Париже. Уже в своих «Письмах из Парижа» Берне выступил против Гейне, продолжая еще воспевать гений поэта: Гейне, мол, играет оружием, Гейне сражается с цветами и, что хуже всего, Гейне обожает Наполеона, — а Наполеон, — и в этом как нельзя лучше вскрывается со всей ясностью мелкобуржуазная ограниченность Берне, — Наполеон, конечно, великий отступник и предатель революции. В течение следующих лет отношения все более и более обострялись. И если Гейне намекал на «зависть» Берне, «испытываемую маленьким барабанщиком к большому тамбур-мажору», если Берне и упрекал Гейне в том, что он приносит в жертву острому слову не только справедливость и истину, но и свои собственные убеждения, все же эти оскорбления были лишь сопутствующей боевой песнью, не скрывающей от борцов истинного предмета спора. Берне нападает на Гейне, ибо, по его мнению, Гейне все еще остается мальчиком, гоняющимся на поле сражения за бабочками. И в Гейне он изображал воплощение этого рода противников: «Гейне безразлично, напишет ли он: республика является наилучшей формой правления, или монархия. Он всегда выберет то, что лучше будет звучать в фразе, которую

он собирается написать». Берне боролся с тем Гейне, который, по его словам, ставил ответственность перед ближним ниже поэтических красот. Немецкие ремесленники и эмигранты в Париже составляли политические воззвания, созывали собрания, выпускали подписные листы. Берне везде присутствовал, везде выступал, помогал, вообще был одним из самых активных работников тайного «Союза гонимых» и «Союза справедливых», состоял даже долгое время кассиром последнего. Гейне же—«аристократ революции»—боялся табачного дыма народных собраний и запаха пота от подписных листов. «Я замечаю вообще,— пишет он,— что поприще немецкого трибуна не усеяно розами, а тем менее чистыми; так например, ты должен очень энергично жать руку всем этим слушателям и милым братьям и родственникам». Берне и Гейне долгое время обедали вместе в одном ресторане, в котором бывало много немецких ремесленников. Между супом и жарким регулярно появлялся «грязный» подписной лист, действовавший Гейне на нервы; и в то время как Гейне так охотно забывал за столом всю нужду мира, Берне «портил» ему, как он пишет, «самые лучшие блюда своей патриотической желчью, которую выбалтывал на них в виде горького соуса. Он портил мне иеремиадами с родины телячьи ножки à la метр д'отель, бывшие в то время моим любимым, безобидным кушаньем»,— и подобно тому, как это Берне пересаливал ему его любимые блюда, так нарушал он и его «самый сладкий сон», садился у его кровати и «плакался целый час о бедствиях немецкого народа и о гнусностях немецких правительств».

Гейне, как известно, разделял людей на назареев и эллинов, на «людей с аскетическими, враждебными образности, жадными к одухотворенью побуждениями», и на «людей с жизнерадостным, гордым, реалистическим характером» и поэтому страстно выступал против назарея Берне в защиту эллина Гёте, против «иудейского спиритуализма» в защиту «эллинского радостного воззрения на жизнь».

Это противоречие проявилось, понятно, и в художественном творчестве обоих писателей. Берне пишет о Гейне: «Если для него форма выше всего, то она должна быть и его единственной целью, ибо лишь только он переходит через край, он расплывается в безграничном, и песок засасывает его». Гейне же пишет о Берне: «Художественную форму он считал отсутствием чувств, он походил на ребенка, который, не понимая пламенного смысла греческой статуи, ощущает только мраморные формы и жалуется на холод».

Берне не отличался широтой своего умственного горизонта. Круг его интересов, как политического писателя, ограничивался исключительно событиями и проблематикой десятилетия 1825—1835 гг. И, когда он сделал попытку использовать утопический

французский социализм, он примкнул к наиболее отсталой и реакционной его форме,—к религиозному коммунизму Ламенэ. На Гейне же большое влияние оказал сен-симонизм, и, даже убедившись в нереальности и беспомощности этого учения при решении социального вопроса, поэт все же продолжал придерживаться сенсуалистической стороны этой доктрины, ее жизнеутверждения сравнительно с спиритуализмом. Но кроме того Гейне имел одно огромное преимущество перед Берне, — то, что Маркс и Энгельс всегда за ним признавали, — он первым «открыл» революционную сущность гегелевской философии. Сен-симонизм и немецкая классическая философия — вот два источника, из которых проистекли воззрения Гейне, когда он в 1833 г. приступил к своей книге об «Истории религии и философии в Германии». Гейне не был сторонником исторического материализма, но он был хорошо знаком с историческими концепциями французских историков реставрации, и понятие классовой борьбы было ему не чуждо, — наоборот, как он это ясно показал несколько лет спустя в известных своих корреспонденциях в «Аугсбургскую всеобщую газету» о социальном движении во Франции и Англии, он весьма тонко разбирался в «знамениях времени» и на этом фронте. Но, включая историю немецкой классической философии в общий процесс развития общества, он все же склонен считать исходным пунктом, движущей силой общественного процесса борьбу сенсуализма и спиритуализма, борьбу между стремлением поставить чувственность выше духа, и, наоборот, поработить чувственность ради духа. Исходя из этого, он считает реформацию Лютера победой спиритуализма, но лишь только был нанесен первый удар церковным верованиям, сенсуализм пробил себе дорогу. В вопросе о крестьянской войне Лютер был неправ, а прав был Мюнцер, — и Гейне считает великую крестьянскую войну предшественницей Великой французской революции, ибо «в год от рождества Христова 1789-й во Франции началась та же борьба за равенство и братство, вследствие тех же причин, против тех же властителей». Новый век, век буржуазии, начинается по Гейне с Лютера, с его требования первенства для разума открывается блестящая эпоха развития немецкой бюргерской философии, от Лейбница до Гегеля. И в противовес честному, но весьма ограниченному Берне, Гейне связывал это развитие немецкой философии с практической революцией во Франции. «Когда сравниваешь историю французской революции, — пишет он, — с историей немецкой философии, то кажется, что немецкая философия есть не что иное, как мечты французской революции. У нас был отказ от существующего и от унаследования в области мысли». И Гейне не останавливается на простом констатировании этой параллели, нет, он делает отсюда соответствующий вывод: «Так как Гегель замкнул великий круг философии, то немцы должны были перейти к политике. И так как философская революция

порождает политическую революцию, то немецкая философия является важным обстоятельством, затрагивающим весь род человеческий. Благодаря учениям этой философии развились революционные силы, ожидающие лишь дня, когда они могут разразиться и преисполнить мир ужасом и восхищением. В Германии будет такое представление, в сравнении с которым французская революция покажется лишь безобидной идиллией. Мысль предшествует действию как молния грому, и наступит час, когда этот гром загремит так, как он еще ни разу не гремел в мировой истории». — Историческая проницательность Гейне простирается еще дальше. Уже в 1833—1834 гг. он говорит, что немецкие ремесленники и рабочие являются посредниками великих немецких философов и что им принадлежит будущее.

Как мы видим, исторический кругозор Гейне был куда шире кругозора Берне; вспышки гениального проникновения в движущие силы общественного развития дали Гейне возможность оценить по-иному и Великую французскую революцию, и немецкую классическую литературу, и философию.

III

Но тут мы сразу же наталкиваемся на расхождение между мировоззрением Гейне и его практической деятельностью. Признавая, что «ремесленники и рабочие — носители идей будущего», он в то же время и не собирался заниматься среди них практической революционной пропагандой и даже, как мы указали выше, относился к ним не без иронии и с некоторой брезгливостью. Гейне, по правильному замечанию Меринга, не был человеком партии в прямом значении этого слова. Слишком хорошо известно его двойственное отношение к коммунизму. Тогда, да и позже, он мыслил себе массы лишь как авангард разрушения. Он не мог, повидимому, представить себе рабочего движения, выражающегося иначе, нежели в разрушении машин, «борьбе за пудинг» и вырубке «олеандровых рощ» поэзии и искусства. Будучи до мозга костей художником-индивидуалистом, он боялся господства масс, внушающих ему отвращение. И вот после выхода в свет книги Гейне, — книги, которую Гейне склонен был считать самым лучшим из своих произведений, — поднялся неописуемый шум в стране филистеров, и вся пресса утверждала, что этот памфлет «представляет собой могильный камень Г. Гейне, под которым он своевольно и заживо похоронил самого себя со своим талантом, своим именем и своей репутацией». Подруга Берне, так жестоко скомпрометированная в книге Гейне, Жанетта Воль-Штраус, опубликовала все пропущенные в «Письмах из Парижа» места о Гейне под заглавием «Мнение Людвига Берне о Гейне», — и скандалу не было конца.

В обстановке этой единодушной филистерской травли Гейне и написал свою знаменитую сатирическую поэму «Атта Тролль», направленную против всех узко-радикальных, односторонних «партийных» требований. Гейне выступает здесь, как художник-индивидуалист, в защиту «неотчуждаемых прав человеческого духа» и бичует прежде всего «так называемую политическую поэзию». «Музы получили строгое приказание, — пишет он в предисловии к «Атта Тролль», — отныне перестать предаваться праздности и легкомыслию, но поступить на службу отечеству в качестве или маркитанток свободы или прачек христианско-германской национальности. В роще немецких бардов особенно сильно заволокли воздух тот смутный бесплодный пафос, тот бесполезный пар энтузиазма, который с пренебрежением смерти кидался в океан общих мест...». Если припомнить, что в это время вышли политические стихи Дингельштедта, Гофмана фон-Фаллерслебена, Р. Пруца, Гервега и др., то ясно, что критика Гейне явно несправедлива; политическая поэзия начала 40-х гг. была первым верным признаком пробуждения немецкого бюргерства к политической активной жизни после четверти века спячки. Так что обзывать эту поэзию «маркитанткой свободы» мог только такой «надпартийный» и индивидуалистический поэт, каким был Гейне. Но зато он безусловно прав в своей критике поэтов — «прачек христианско-германской национальности», каковых в тогдашней Германии было не меньше, чем сейчас. И так как эти поэты в большинстве случаев даровитостью не блистали, но зато в противовес этому отличались «хорошими характерами», т. е. были националистами, то Гейне опять-таки прав, когда он в том же предисловии к «Атта Тролль» пишет: «Талант был в то время очень неприятный дар природы, потому что он навлекал на обладателя его подозрение в отсутствии всякого характера... Масса считала себя почти лично польщенной, когда слышала утверждение, что славные люди, правда, обыкновенно очень плохие музыканты, но зато хорошие музыканты — обыкновенно совсем не славные люди, быть же славным человеком — вот что ,а отнюдь не музыка — самое главное».

Вот во имя «свободы личности и поэзии», в защиту «неотчуждаемых прав человеческого духа» Гейне и написал свою «последнюю вольную песнь романтизма, поэму «Атта Тролль», направленную против всех узко-радикальных «партийных» поэтов и против националистов-тевтонов. Свое представление «о свободе творческой личности» он излагает в следующих словах:

Грезы ночи! Фантастична
И бесцельна эта песня,
Как бесцельны жизнь с любовью
И земное все творенье.
Ради собственной забавы.
То гарцуя, то летая,

В царстве сказок и фантазий
Милый мой Пегас витает.
Он не бюргерская кляча
С прилежаньем достохвальным,
Не борьбы партийной лошадь
С ярым топотом и ржаньем.
Чистым золотом подкован
Белый конь мой, конь крылатый,
Беззаботно опускаю
Я жемчужные поводья.

А будущее царство Троллей ему представляется таким образом:

Основным законом будет
Равенство созданий божьих,
Без различия религий,
Цвета, запаха и шерсти.
Всюду равенство! Высоких
Степеней осел достигнуть
В праве; льву ж подчас придется
И мешки таскать с мукою.

(Перев. Н. А. Брянского)

Но Гейне напрасно чернил «тенденциозную» поэзию: его «надпартийная», «нетенденциозная» поэма о медведе Тролль — одна из его сугубо тенденциозных вещей, и если мы не можем согласиться с взглядами поэта, выраженными в этой поэме, все же он дал нам прекрасную сатиру на определенные мелкобуржуазные и националистические слои немецкого общества, сатиру, не потерявшую своей остроты и поныне. Но насколько иллюзорна была надежда противников политической поэзии, усматривающих в «Атта Тролле» отход Гейне от этой поэзии, показывают другие, одновременные высказывания поэта. Так, его прекрасные описания рабочих мастерских в предместье Парижа Сен-Марсо относятся к апрелю 1840 г.; его удивительная оценка восстания английских чартистов — к сентябрю 1842 г., а уже 15 июня 1843 г. он говорил, что не далеко время, когда утопические социалисты объединятся с коммунистами рабочими и, таким образом, наступит новая фаза человеческого развития [1]. Когда Гейне писал эти слова, он вряд ли имел представление о том, что это его предсказание исполнится уже через 2-3 года, в первой международной классовой организации пролетариата, союзе коммунистов. Правда, когда это объединение свершилось, Гейне не понял его настоящего исторического смысла. Но все же не надо забывать, что подобно тому как Гейне был одним из первых, указавших на ре-

[1] Высказывания Гейне о коммунистах в корреспонденции от 15 июля 1843 г. написаны еще до его знакомства с Марксом, а не под его влиянием, как можно заключить по статье т. Бухарина („Большевик“ № 9, 1931 г. стр. 57).

волюционную сущность гегелевской философии, так он и здесь опять-таки одним из первых указал на неизбежность объединения социалистической теории и практики коммунистического движения. Конечно, такие гениальные, хотя и единичные, и не вытекающие из цельного историко-материалистического миропонимания проникновения «за кулисы» движущих сил исторического процесса представляют собой нечто совсем иное, чем близорукие, устремленные только к одной цели — буржуазной республике — идеи Берне. И не удивительно, что когда в Париж приехали два человека, из которых один — Маркс — осуществил вскоре идею объединения теории и практики рабочего движения, а другой — Руге — стал типичным представителем мелкобуржуазного радикализма, — первый в споре с Гейне и Берне стал на сторону Гейне, а второй — на сторону Берне.

IV

Вокруг первого знакомства, — и вообще вокруг взаимоотношений Маркса, Руге и Гейне, — сам Руге создал не мало легенд. Прежде всего относительно первой его встречи с поэтом — Руге уже после смерти Гейне, в 1867 году, в своих воспоминаниях[1] смело утверждает, что «старая лиса» Гейне сам якобы настоял на этом знакомстве. Но, если мы взглянем на сообщение того же самого Руге, изложенное непосредственно после этой встречи в письме к его дрезденскому другу, филологу А. Кехли, от 2 сентября 1843 г., т. е. под свежим впечатлением знакомства, мы увидим нечто совсем иное. Руге пишет: «Я видел также Гейне. Он знаком с доктором Гессом, приехавшим со мной сюда из Кельна. Он представил мне его в читальне Монпансье, и мы некоторое время беседовали в саду национального (королевского) дворца. Он хорошо острит; так он полагает, что они наверное засадят Б. Бауэра, — если Бауэр доживет до этого, прибавил он. Невольно смеешься и этим доставляешь ему большое удовольствие. Но комична его idée fixe, что его засадили бы, если бы он приехал в Германию. Также и против реакции он говорит таким образом, будто бы является отъявленнейшим радикалом. Он написал стихотворение Гервегу, похожее на стихотворение Дингельштедту, следовательно хорошее; но он — как Мозен — говорит о «тенденциозной поэзии». Я произнес это слово и меня постигла участь ученика-чародея»... А за четыре дня до этого Руге в письме к брату Людвигу[2], пишет об этой встрече: «Говорил с Гейне, — ты не поверишь, за какого радикала выдает себя с глазу на глаз эта лиса». Конечно, все это звучит иначе, чем показания

[1] Arnold Ruge, Erinnerungen an Heine („Gartenlaube“ 1867, № 43).
[2] См. письма Гейне, I часть, Гамбург, 1863.

Руге в 1867 г., но трудно понять, что именно Руге нашел удивительного в «радикализме» Гейне; это делается ясным, если только принять во внимание филистерское недоверие, с которым Руге относился к Гейне за его книгу о Берне и за его «Атта Тролль», — он это прямо говорит в своих письмах того периода. А между тем Гейне, как мы выше видели, и во время борьбы за «неотчуждаемые права человеческого духа» не стоял далеко от политического направления младогегельянского радикализма, как оно было представлено в редактируемой Марксом «Рейнской газете» и в «Галльских (немецких) летописях» Руге. В самый расцвет этого направления Гейне в письме своем к Лаубе от 7 ноября 1842 г. называет себя «самым решительным из революционеров» и требует от Лаубе и компании, чтобы они не играли в прусских доктринеров, а разделяли бы взгляды «Рейнской газеты» и «Галльских летописей» [1]. Что же после этого удивительного в том, что Гейне, узнав от Гесса и Руге о намерении Маркса и Руге издавать в Париже «Немецко-французские ежегодники», ухватился за эту идею, — идею о сотрудничестве «Галло-германского принципа», которая должна была получить теперь воплощение, составлявшую правда, в ином смысле, заветную мечту Гейне, — именно, культурное сотрудничество двух народов. Об этом живейшем интересе Гейне к «Ежегодникам» Маркса и Руге последний, насколько нам известно, нигде ничего не говорит, хотя имеются определенные данные об отношении Гейне к этому издательскому проекту.

В конце октября 1843 г. Гейне уехал в Гамбург для устройства семейных и литературных дел; он вернулся в Париж в декабре. На обратном пути он остановился на один день в Кельне. Здесь он посетил, между прочим, редактора «Кельнской газеты», Карла Андре, и небезызвестный Герман Эбнер, франкфуртский демократ и... агент Меттерниха, сообщает австрийскому правительству со слов Андре: «Я постарался привлечь Гейне к «Немецко-французским ежегодникам». По словам Гейне, все либеральные публицисты Германии обещали, будто бы, свое сотрудничество, и процветание нового журнала сделается жизненным вопросом для Германии.

С такими взглядами Гейне вернулся в Париж, где он теперь уже кроме Руге застал и прибывших в ноябре 1843 г. Карла Маркса и Гервега. Опять-таки со слов Руге в 1870 г. (а к его утверждениям вообще нужно относиться довольно критически) — именно он познакомил Гейне с Марксом, и оба они якобы советовали поэту бросить вечную возню с любовной лирикой и показать наконец политическим поэтам, как по-настоящему писать —

[1] Письма Гейне, II часть, стр. 350 и др.

кнутом [1]. Можно почти с уверенностью сказать, что влияние Руге на Гейне в этом смысле ничтожно. Когда читаешь теперь письма Руге 1843—1844 гг., где он говорит о политической сатире Гейне в Парижском «Форвертсе» и называет некоторые стихи «удачными» и «хорошими», а другие «менее удачными» и «плохими», и рядом с этим предсказывает великое будущее Герману Мейреру, как поэту, у которого будто бы многому научился даже Гервег, — и все время не может забыть о том, что Гейне «прохвост», — как показывает его книга против Берне, — то трудно себе представить, что такой человек мог бы что-либо советовать Гейне. Иное дело с Марксом. Если мы примем во внимание вышеназванную разницу мировоззрений Гейне и Берне, и с каким идейным багажом Маркс приехал в Париж и как он там развивался в 1843—1844 гг., то для нас станет понятно, почему Маркс сразу так подружился с Гейне и принял его сторону в споре с Берне. К сожалению, кроме большого письма Гейне к Марксу из Гамбурга от 2 сентября 1844 г. и трех коротеньких писем Маркса к Гейне начала 1845 и 1846 гг. никаких документальных данных об их взаимоотношениях не сохранилось [2], да и вряд ли когда-либо еще существовали другие письма кроме этих, ибо, по выражению Гейне, им было «довольно одного знака, чтобы понять друг друга» [3]. Энгельс, который мог бы дать верное изображение этих отношений, хотел действительно написать предисловие к письму Гейне и изложить историю знакомства его с Марксом, но умер, не успев этого сделать, а Каутский смотрел на все сквозь свои филистерские очки, и та картина, которую он нарисовал, опираясь на воспоминания дочери Маркса, во всяком случае весьма одностороння, ибо не представляется вероятным, чтобы при встречах Маркса и Гейне «политика не играла роли» и затрагивались лишь вопросы «эстетической отделки» его стихов. Разве случайно, что Гейне написал свои лучшие, пользующиеся мировой известностью, политические сатиры именно в период своего тесного сближения с Марксом? Разве случайно, что он поместил эти свои лучшие стихи в Парижском «Форвертсе», заполоненном, как выражается Руге, Марксом и его «молодыми учениками»? Разве случайно, что Гейне откликнулся на восстание силезских ткачей именно стихотворением, отражающим понимание этого события Марксом в противовес Ру-

---

[1] Письмо Руге к Каппу от 18 февраля 1870 г.

[2] Письмо Гейне к Марксу было впервые опубликовано К. Каутским в „Neue Zeit" в 1896 г., Ig. XIV, том I, стр. 16, затем неоднократно перепечатывалось по-немецки; на русском языке оно впервые опубликовано в назв. статье Е. Книпович. Письма Маркса к Гейне были впервые напечатаны Густавом Мейером в „Архиве Грюнберга" том IX, Лейпциг, 1920. Русский перевод опубликован впервые С. Я. Вольфсоном в „Трудах белорусского гос. университета", 1922, № 2—3.

[3] В своем письме к Фрейлиграту от 23-го ноября 1859 г. Маркс говорит о двух письмах Гейне к нему; повидимому, одно из них пропало (см. Ф. Меринг, Фрейлиграт и Маркс в их переписке. М., 1929, стр. 52).

ге? Конечно, не случайно. Если Гейне и не понял до конца Маркса и не смог угнаться за «самопознаванием» Маркса и Энгельса в это время, то все же при общении с Марксом ему многое стало ясным в общественной жизни из того, что он раньше лишь смутно чувствовал. Кроме «Германии, Зимней сказки» и стихотворений в «Форвертсе» влияние Маркса, как мы полагаем, сказалось особенно в «Ткачах», и так как оценка силезского восстания была также одним из основных вопросов при расколе между Марксом и мелкобуржуазной демократией, то мы остановимся несколько подробнее на этом событии.

V

Как известно, восстание силезских ткачей вызвало большие споры среди немецкой редикальной интеллигенции, главным образом в эмигрантской немецкой колонии Парижа; на очередь был поставлен вопрос об отношении «философии» к «массам»; на этот вопрос Маркс дал ответ в своей статье «К критике гегелевской философии права». Руге и его сторонники не придавали значения восстанию, так как возлагали свои надежды на общее политическое движение, которое охватило бы все классы; в восстании силезских ткачей, по мнению Руге, не было «политической души», а, утверждал он, без этой «политической души» социальная революция невозможна. Движение пролетариата казалось ему только помехой, и в частности силезское восстание расценивалось им только как голодный бунт, больше ничего. Особенно не понравилось ему, что к этому восстанию были, будто бы, причастны коммунисты. Так, он пишет 20 июня 1844 г. к Кехли: «Замечательны силезские беспорядки, приписываемые коммунистам. Разве это возможно? Я не думаю, чтоб у силезцев были теории; это чисто коммунистическая практика. В то время, как некогда Германия была теоретической страной, так, кажется, теперь она сделалась абстрактной практикой, т. е. предпринимает глупые революции, не имеющие своей целью ни пива, ни хлеба, вообще ничего. Но во всяком случае примечательно, что дело обстоит именно так, и, может быть, все же вслед за этим выступит и разум».

Иначе оценивал восстание Маркс. В своей статье в парижском «Форвертсе», направленной против статьи Руге (с подписью «Пруссак»), он вскрывает глубочайшую разницу между эмансипацией буржуазии и рабочего класса и указывает то историческое место, которое занимает это восстание, в качестве поворотного пункта в общественно-политическом развитии Германии. Возражая Руге на его утверждение, что английское рабочее движение более зрело, Маркс пишет: «пусть «Пруссак», наоборот, станет на правильную точку зрения, и тогда он увидит, что ни одно из французских и английских восстаний не носило такого теоретического и сознательного характера, как восстание

силезских ткачей». И что же Маркс, прежде всего, приводит в доказательство своего смелого утверждения? — «*Песню ткачей*», — ту прекрасную песнь в 25 строф, сочиненную, по всей вероятности, самими ткачами и распевавшуюся ими во время восстания. Маркс очень часто прибегал к литературным произведениям, как к блестящим документам классового сознания, как к превосходному средству познания действительности. Так в труде, написанном одновременно с этой статьей, в так назыв. «Подготовительных работах к святому семейству», он приводит ряд цитат из Шекспира и Гёте для иллюстрации силы денег. О «Песне ткачей» он пишет: «Прежде всего, вспомните «Песню ткачей», этот смелый *боевой клич*, где ни разу не упоминается об очаге, фабрике, округе, но зато пролетариат резко, ясно, беспощадно и властно заявляет во всеуслышанье о своей противоположности обществу частной собственности. Силезское восстание *начинается* как раз тем, чем французские и английские восстания *кончаются* — сознанием сущности пролетариата. Даже все его акты носят этот *характер обдуманности*. Уничтожаются не только машины, эти соперники рабочих, но и *торговые книги*, эти вывески собственности, и, между тем как все те движения направлены были главным образом против *хозяев промышленных заведений*, против видимого врага, это движение направлено и против банкиров, против скрытого врага. Наконец, ни одно английское рабочее движение не велось так храбро, разумно и настойчиво».

Песня, которую так высоко ставил Маркс, называется «Кровавая расправа». Она была очень популярна в предмартовское время и представляет также центр драмы Гауптмана «Ткачи». Приведем из нее несколько строф.

Мы, ткачи, обречены
Жить для муки и позора.
Нас и судят без вины,
И казнят без приговора.
  Не избыть нам этот суд,
  Бесполезны все попытки.
  Хуже каторги наш труд,
  Наш станок орудье пытки.
Злобный Цванцигер, палач,
С ним тюремщиков орава,—
Их не трогает наш плач,
Наши стоны—им забава!
  Глухо сердце их к добру,
  Им рабочие—что мухи:
  „Вам наш хлеб не по нутру,—
  Помирайте с голодухи“.
Ткач для них не человек,
Шкуру с нас дерут убийцы!
Будьте ж прокляты во век,
Фабриканты кровопийцы.

> Не видать вам седины,
> Ваших жен сразит бесплодье!
> Смерть вам, Ирода сыны,
> Сатанинское отродье!

Только приняв во внимание оценку Марксом силезского восстания и то влияние, которое он тогда имел на творчество Гейне, можно понять стихотворение «Ткачи» и сознательность, вкладываемую поэтом в уста ткачей — сознание зрелости класса — могильщика старой Германии. Тем удивительнее кажется нам суждение Меринга по поводу спора между Марксом-Гейне и Руге. Он пишет: «Более странно то, что Маркс говорит об историческом значении силезского рабочего восстания. Он приписывает ему стремления, наверно совершенно чуждые ему. Повидимому, Руге вернее оценил мятеж ткачей, увидав в нем только голодный бунт, лишенный более глубокого значения. Все же, как и в прежнем споре о Гервеге, в этом случае еще ярче сказалось, что вина филистеров перед гениями заключается в том, что они правы. И в конце концов великое сердце побеждает мелкий ум»[1]. Вот уж действительно Меринг напрасно тратит порох на оправдание «ошибки» Маркса. Если сторонники точки зрения Меринга могут возразить, что Маркс, мол, в это время не был еще вполне марксистом», то нужно напомнить им, что Маркс и Энгельс и в начале 50-х гг., когда они в «Революции и контрреволюции в Германии» подводили итоги своему революционному опыту за 1848—1849 гг., они, объясняя отставание рабочего движения в Германии по сравнению с Францией и Англией, пишут: «И все же в промышленных округах, где господствовал современный способ производства, благодаря ему и благодаря удобству общения и умственного развития, создаваемым кочевой жизнью значительного числа рабочих, образовалось крепкое ядро таких элементов, идеи которых об освобождении их класса были гораздо яснее и больше соответствовали окружающим фактам и исторической необходимости. Но они составляли лишь меньшинство. Если активное движение буржуазии датируется 1840 г., то активное движение рабочего класса возвещает о себе бунтами силезских и богемских фабричных рабочих 1844 г.»[2]. Отсюда мы можем заключить, что Маркс, хотя и переоценил несколько с т е п е н ь сознательности восстания ткачей, все же правильно считал его, повторяем, поворотным пунктом общественно-политической жизни Германии, первым этапом сознательного выступления пролетариата в этой стране. Обычно, когда говорят о силезском восстании, то забывают, что оно не было изолированным, что почти одновременно с ним происходило восстание рабочих в Бреславле; в Глуме взбунтовались моряки, а в Богемии подымалась даже це-

---

[1] Фр. М е р и н г, К. Маркс. Пг. 1920, стр. 68.
[2] Марк и Энгельс. Соч., т. VI, стр. 21.

лая волна восстаний, как-то: 16 июля в Праге, затем в Рейхенберге и в Богемском Липпе среди ткачей. В Саксонии тогда же происходили волнения среди железнодорожников (на которых, кстати сказать, надеялись силезские ткачи), а в Магдебурге и Ингольштадте — среди рабочих[1]. Лето 1844 г., как пишут выше Маркс и Энгельс, является именно начальной датой классового движения немецкого пролетариата.

Как высоко стоит в смысле классового сознания стихотворение Гейне о ткачах, видно при сравнении его с массовой продукцией художественной литературы (лирика, повести и драмы), которую производила поэзия «истинного социализма» в Германии о тех же силезских ткачах. Вопрос здесь, конечно, идет не о том, думали ли ткачи, начиная восстание, что они ткут саван могильный для старой Германии. Ведь революционный поэт вовсе не должен ограничиваться простым фотографическим отображением борьбы, но и указывать на цели ее[2].

Повторяем: участие Маркса в художественном творчестве Гейне выражалось в 1844 г. в чем-то большем, нежели «эстетическая отделка» им и его женою стихов Гейне. Горячее сочувствие, проявленное Гейне еще в Кельне в декабре 1843 г. по отношению к «Немецко-французским ежегодникам», не ограничивалось одними словами. В единственно вышедшем под редакцией Маркса и Руге двойном номере журнала Гейне поместил свои известные «Хвалебные песни королю Людвигу». И небезынтересно отметить, что когда в марте 1844 г. выяснилось, что продолжение «Ежегодников» невозможно как из-за недостатка средств, так и вследствие принципиальных разногласий, то Гейне чрезвычайно энергично подыскивал материальные ресурсы, издателя и т. д. Так, Руге, еще до разрыва с Марксом, пишет 24 марта своему другу Кехли: «Представьте себе, Гейне принимает очень горячее участие в нашем деле, и хотя я не верю, что он найдет какой-либо золотой выход, все же в своем радикальном рвении он очень любезен. Он заботился об издателе и еще сейчас занят этим... Двести четырнадцать (экземпляров ежегодника) арестованы при Вейсенбурге, когда они открыто перевозились в Штутгардт без официального разрешения на пересылку. Жандармы и пограничные чиновники катались со смеха по полу, читая «Хвалебные песни королю Людвигу». Как Маркс относился к поэту и после высылки из Парижа в январе 1845 г., об этом свидетельствуют упомянутые выше три коротеньких письма Маркса к Гейне 1845—1846 гг. Но тут опять-таки вопрос не в том, как сложились личные отношения Маркса

[1] Georg Adler, Die Geschichte der ersten sozialpolitischen Arbeiterbewegung in Deutschland. Breslau, 1885, стр. 109.

[2] Не безынтересно отметить, что „Ткачи" Гейне были переведены Энгельсом в 1844 г. на английский язык и напечатаны в газ. „Оуэна New Moral World", 1844.

к поэту в будущие годы, а в том, что Маркс и Энгельс считали Гейне именно революционным поэтом, которого нужно воспитывать и привлекать по мере возможности к работе в интересах пролетариата. Подобно тому, как они считали Гервега до марта 1848 г. попутчиком рабочего класса, они в еще большей степени благоприятно относились к Гейне. Конечно, они не предавались иллюзиям, что больной поэт в «матрацной могиле», поэт индивидуалист-эстет, всегда с двойственными чувствами относившийся к коммунизму, — что этот поэт сразу сможет разделять идеи «Коммунистического манифеста».

В 1845 г., когда Маркс и Энгельс организовали «Коммунистическое бюро сношений» в Брюсселе — первая организационная форма союза коммунистов — и назначили корреспондентов в каждом крупном городском центре, где имелась коммунистическая община, — в Париже функции такого партийного представителя выполнял Герман Эвербек из Данцига, находившийся под влиянием Кабэ и руководивший раньше Союзом справедливых. Г. Эвербек часто посещал Гейне в 1845—1848 гг., и в своих письмах Коммунистическому бюро сношений, Союзу коммунистов или просто Марксу [1] почти всегда дает сведения и о Гейне. Посещал ли он его по требованию партийного центра или по личной просьбе Маркса — сказать трудно, но по некоторым ответам Эвербека видно, что он делал эти посещения по прямому поручению партии [2].

Первый раз Гейне фигурирует в письме Эвербека к Марксу от 31 августа 1845 г. Здесь он отчитывается в произведенном по поручению бюро сборе денег в пользу В. Вейтлинга. «Вуппертальцы, — пишет он, — прислали только что для Вейтлинга 5 фунтов и Генрих Гейне 10 фунтов. Гервег доставил 50 франков, но ремесленники доставили относительно больше, чем Гервег, находящийся на морских купаниях. Гейне выступит вскоре против немецко-католического движения и разразится против него свирепой книгой; я посетил его в Монморанси и наслаждался этим несокрушимым насмешником, продолжающим творить, несмотря на болезнь глаз». В конце письма Эвербек еще раз возвращается к Гейне и делает следующую приписку: «Генрих Гейне очень слаб и исхудал; я посетил его в Монморанси недавно, где он, однако, сохраняет ясность своего духа. Он написал свои мемуары, в которых попадаются всякие безумства. Не находишь ли ты полезным

[1] По выходе в свет „Святого семейства“ Маркс немедленно послал как Гейне, так и Гервегу по экземпляру своей книги.

[2] Что Гейне в эти годы считался своим человеком в кругу партийных друзей Маркса, видно также из того, что когда в январе 1845 г. Энгельс и Гесс основали коммунистический журнал „Зеркало общества“, Гесс пишет Марксу: „Когда увидите Гейне, передайте ему от меня привет, и если вы полагаете, что его имя и сотрудничество подходят для нашего журнала, то я сам ему об этом напишу в случае надобности“.

еще до его смерти, — а это может случиться в любой момент, так как он страдает болезнью мозга, — выступить публично за него и за защищаемый им принцип?» Что именно понимал Эвербек под «принципом» Гейне, за который Маркс должен был публично выступить, сейчас трудно сказать; может быть, он имел в виду связанный со спором Берне и Гейне комплекс идей, а, может быть, и революционную или социалистическую поэзию вообще. В следующем письме к Марксу, от 31 октября 1845 г., Эвербек отвечает на какое-то поручение Маркса, имевшее отношение к Гейне и графине д'Агу: «Гейне шлет привет; я передал ему твое поручение. Он просит тебе сообщить, что честолюбие графини д'Агу не имеет границ; не читал ли ты панегирик (в «La Presse») Георгу Г(ервегу) с обязательными укоризненными гримасами в сторону невинного Фрейлиграта? Она снова приняла новое имя, английское, и издевается в жирарденовской газете над Фрейлигратовской песнью «Мертвым Лейпцига». Гейне, разумеется, не может упустить ни одного случая, чтобы не напасть на нее». В последующих письмах 1845—1846 гг. Эвербек сообщает лишь подробности о болезни Гейне. Так, в письме от 28 декабря 1845 г. он пишет: «Гейне очень болен, сейчас он слеп на один глаз, но постоянно весел»; а в письме от 15 мая 1846 г. подробнее описывает состояние здоровья поэта: «Г. Гейне едет завтра на воды в Пиренеи; несчастный безвозвратно погиб; ибо уже сейчас проявляются первые признаки размягчения мозга (Encephalomalacia). Умственная деятельность, в особенности его юмор, несмотря на часто уже появляющиеся затуманивания сознания, еще без изменения; но уже приступают к болезненным операциям, например, введение порошков под кожу, и все напрасно. Он будет умирать постепенно, по частям, в течение пяти лет, бывали случаи. Он еще пишет, хотя одно веко всегда закрыто! Я посетил его вчера; он шутил и ведет себя, как герой. Вскоре появится его новый труд».

VI

Эвербек не справился с обязанностями по размежеванию членов парижской общины коммунистов от вейтлингианцев и приверженцев Грюна и Прудона, и поэтому осенью 1846 г. брюссельское бюро отправило Энгельса в Париж для этой работы. Теперь сообщения о Гейне встречаются в отчетах и письмах Энгельса как на имя бюро, так и Марксу. В письме от 16 сентября 1846 г. он сообщает, что Гейне опять в Париже, и что они третьего дня были у него с Эвербеком, — и затем следует описание его болезни почти в тех же словах, как выше у Эвербека. Приблизительно то же самое сообщает Энгельс в письмах от 15 января, 23-24 ноября 1847 г. и 14 января 1848 г. Нужно сказать, что к этому времени Энгельс уже давно изменил свой первоначальный отри-

не, к его удовольствию, приветы ваши и вашей жены, равно как и замечания о нем и его «Романцеро». Он шлет вам в свою очередь привет и просит вам передать, что он всегда рад услышать что-нибудь о вас. Вообще он не подавлен здешними событиями; он уже столько всякого пережил, что не знает больше, что собственно считать прогрессом и что регрессом; и по существу это последнее событие, может быть, еще прогресс». Что Гейне подразумевает последние слова в ироническом смысле, доказывает следующее письмо Рейнгардта к Марксу, от 15 февраля 1852 г., где говорится, что: «за последнее время Гейне очень подался, и морально он был подавлен, вследствие событий».

В том же 1852 г. побывал как у Маркса, так и у Гейне друг Веерта из Дрездена, историк Эдуард Фезе, который, по словам Рейнгардта, может устно сообщить Марксу о Гейне. Затем в письме от 21 октября 1852 г. Рейнгардт пишет: «Нашему дорогому Гейне при всем этом, к сожалению, хуже. Он просит передать вам привет. N. B. Видели ли вы его новое издание «Салона»? Если нет, то достаньте его. В новом предисловии он мимоходом говорит о вас в выражениях, которые вас позабавят» [1].

В 1855 г. Рейнгардт оставил место секретаря у Гейне. Как видно из переписки Маркса с Лассалем, поэт и в этом году передал Марксу привет через Лассаля, и Маркс ответил тем же путем. В следующем году Гейне умер. Жена Маркса, ездившая уже после смерти поэта на родину, где скончалась ее мать, встретилась в Париже с Рейнгардтом, который сообщал ей всякие подробности о Гейне, о чем Маркс и пишет Энгельсу в письме от 22 сентября 1856 г. Но какого рода были эти подробности, сейчас сказать трудно; думается, что они носили не только биографический характер. И когда Маркс в сентябре 1856 г. вместе с Фрейлигратом имел совещание с американцем Ольмстедом, представителем журнала «Putnam Monthly», которому Маркс должен был давать статьи на военные темы, то он обещал написать и статью о Гейне. Статью о «волонтерах» написал Энгельс, и она была напечатана; Маркс также собирался дать статью и с этой целью опять обратился к Рейнгардту с просьбой сообщить ему все детали, которые он знает о Гейне. Вот ответ Рейнгардта от 3 октября: «Что касается Гейне, дорогой друг, то я не могу сообщить вам ничего, стоящего внимания, чего бы вы уже не знали из его последних сочинений и т. д., и чего, по всей вероятности, вполне достаточно для журнальной статьи. Может быть, мне придется еще выяснить некоторые особые пункты, на которые я указывал вашей жене; но для этого еще не все созрело, и я должен приберечь их на

---

[1] Речь идет о шутливом упоминании Гейне имени Маркса в связи с его суждением о материализме.

более поздний срок, во всяком случае, я вам первому сообщу о них, уже в собственных моих интересах».

Сообщил ли Рейнгардт Марксу эти сведения, не знаем; Маркс и на этот раз не написал статьи о своем друге поэте, как он его называет в «Капитале», и каковым его всегда считали и он, и Энгельс. Повидимому, Маркс и Энгельс знали еще какие-то, неизвестные нам, подробности как о жизни Гейне, так и особенно о его политической эволюции 1843—1844 и в 1849—1856 гг. По крайней мере, в партийном руководстве старой германской социал-демократии об этом поговаривали, и когда в 1875 г. партийное издательство собиралось выпустить комментарии к полному собранию сочинений и письмам Гейне, оно обратилось именно к Марксу и Энгельсу за разъяснением, в случае надобности, некоторых «темных» мест. Остается только пожалеть, что ни Марксу, ни Энгельсу так и не удалось изложить в связной форме свои взгляды на Гейне.

Из того факта, что Маркс нигде не высказывался публично против политических ошибок Гейне, некоторые, и прежде всего Меринг, делали вывод, что «Маркс, еще почти мальчиком, тщетно стремился к поэтическим лаврам, — и сохранил поэтому (!) навсегда живые симпатии к поэтам и снисходительно относился к их маленьким слабостям. Он считал, что поэты — чудаки, которых нужно предоставить итти собственными путями, и что к ним нельзя прилагать мерки обыкновенных или даже необыкновенных людей. Их нужно задабривать лестью, для того чтобы они пели, и нельзя подступать к ним с резкой критикой [1]. Мы уже раньше, в статьях о Фрейлиграте и Гервеге, показали, как заблуждается в этом вопросе Меринг и с какой именно р е з к о й критикой Маркс обрушивался на Гервега и Фрейлиграта, когда они совершали несовместимые со званием революционного поэта политические поступки. Конечно, Маркс был весьма и весьма «снисходителен» к этим ошибкам, если он видел, что они не являются звеном в ц е л о й с и с т е м е ошибок, ставящим уже революционного поэта-попутчика за определенные границы. Маркс немало «няньчился» с Гервегом, Фрейлигратом и Гейне, но он всегда критиковал — и в интимном кругу весьма резко — их ошибки; а когда они перешли уже известные пределы, которые Маркс считал необходимыми для поэта — друга пролетариата, он рвал с ними, как мы это видели при исследовании его отношений к Гервегу и Фрейлиграту. До такого разрыва с Гейне отношения Маркса не дошли. Но это не потому, что Гейне совершал меньше политических ошибок, а потому, что, во-первых, в его творчестве после 1848 г. не было такого резкого перелома, как, например, в творчестве Фрейлиграта, и, во-вторых, Гейне в 1848—1856 гг.

[1] Меринг. Карл Маркс, стр. 63.

мецкая буржуазия, по сравнению с английской и французской. Он пишет:

Француз и бритт бездушны от природы,
Чувствителен лишь немец; средь свободы,
Террора даже, немец сохранит,
Как долг и преданность велит,
К монарху своему, без всякого сомненья,
Глубокое сыновнее почтенье.
Шестеркой экипаж придворный запрягут,
Коней в нарядный траур уберут,
На козлах кучер плачущий с бичом...
Так будет к месту лобному потом
Немецкий государь когда-нибудь доставлен
И верноподданнически обезглавлен.

Сатира Гейне на революцию 1848 г. в Германии имеет лишь одно сходство с позицией Маркса, Энгельса и Союза коммунистов, так, как эта позиция выражена в «Новой Рейнской газете». Гейне необыкновенно остро вскрывает всю беспомощность немецкой буржуазии и половинчатость, трусость мещанства перед лицом настоящей социальной революции. Он вскрывает их и бичует в свойственной только ему манере. Как бы ядовита и остра ни была эта сатира, она все же дает только отрицание этих поступков буржуазии, не провозглашая четко выраженных положительных требований, а именно такие требования и противопоставили Маркса и Энгельса этим буржуазным шатаниям, как ясные лозунги коммунистической партии для настоящего и будущего. И поэтому певцом революции 1848 г. в Германии сделался не Гейне, а члены Союза коммунистов, творивших под непосредственным руководством Маркса, — Георг Веерт и Ф. Фрейлиграт. Из них Веерт шел по пути социально-политической сатиры Гейне, дополняя ее именно тем, чего недоставало ее гениальному мастеру и создателю. Но, тем не менее, весь редакционный штаб «Новой Рейнской газеты» считал Гейне своим революционным попутчиком, или, как тогда говорили, — «нашим другом».

В статьях в «Новой Рейнской газете» Маркс неоднократно цитирует «нашего друга» Гейне: то он дает убийственную критику «героев» франкфуртского парламента, которых он сравнивает с Троллем, то приводит отрывок из знаменитой «Легенды замка» о династии Гогенцоллернов, которую даже Меринг из цензурных соображений не рискнул напечатать при издании статей Маркса. Как утверждает Фрейлиграт, Маркс в это время знал наизусть социально-политические стихи Гейне. С другой стороны, и Гейне читал «Новую Рейнскую газету», политические статьи которой помогли ему притти к выводу, что только «доктора революции», подобные Марксу и Энгельсу, смогут в конце концов раздавить тевтонскую контрреволюционную гадину. В беллетристическом же отделе газеты он интересовался, понятно, «властелином» революционного фельетона 1848 г. Веертом.

Этим, в сущности не прекращавшимся, устным и письменным общением и объясняется то обстоятельство, что, когда Маркс после победы контрреволюции в Германии и закрытия газеты уехал в Париж, он попрежнему продолжал дружить с Гейне и бывать у больного поэта, лежащего в своей «матрацной могиле». Непосредственные указания на это встречаются в письмах Г. Веерта к его родным. Так, когда Веерт летом 1849 г. вернулся опять в Париж, чтобы сражаться при последних судорогах революции во Франции, он в одном письме к брату сообщает, что Гейне выразил через Маркса пожелание лично познакомиться с Веертом, вещи которого в «Новой Рейнской газете» ему так понравились. «Маркс повел меня к нему, — пишет Веерт. — Мы застали беднягу в момент таких страданий, что он не мог нас принять». Но, как видно из дальнейшей переписки, как Маркс, так и Веерт бывали после этого у поэта и могли свободно с ним беседовать.

Осенью 1849 г. Маркс, которого французское правительство выслало из Парижа в провинцию, уехал в Лондон. С этого времени до смерти поэта они больше не встречались. В эти 1849—1856 гг. Гейне совершил немало поступков, с которыми Маркс, конечно, согласиться не мог; так, например, если его двойственные высказывания о коммунизме в 1851 и в 1854 гг. не были для Маркса неожиданными, то все же его «обращение», особенно его завещание, не могли не вызвать сожаления у Маркса и Энгельса, как это и явствует из их переписки. Но, тем не менее, как Маркс и Энгельс, так и другие друзья коммунисты никогда не высказывались публично против поэта. Маркс поддерживал все эти годы связь с ним через Рихарда Рейнгардта, секретаря Гейне в 1850—1855 гг., члена Союза коммунистов и интимного друга Маркса и Энгельса[1]. В его обязанность входило также писать письма Гейне, и он передавал взаимные приветы и т. п. Так, в своем письме к Марксу от 23 июля 1851 г. он пишет: «Гейне, которому я передал ваши приветы, может вам в этот момент сообщить только то, что «он еще случайно жив!» Положение его все ухудшается, хотя среди его страданий выпадают еще моменты, когда он может творить прежним прекрасным образом». Затем, осенью, вышел его прекрасный сборник стихов «Романцеро», стихов, написанных им уже в «матрацной могиле». Маркс и его жена, которым стихи понравились, написали свой отзыв о сборнике для передачи Гейне и прибавили, повидимому, также кое-что о политических событиях в связи с государственным переворотом Наполеона III. В письме от 30 декабря 1851 г. Рейнгардт отвечает: «Я передал Гей-

[1] Рейнгардт в молодости, в средине 40-х г., сам писал стихи в духе немецкого „истинного социализма“, и Энгельс довольно жестоко издевается над ним в „Немецкой идеологии“.

кими филистерами, песнями Тиртея, вроде «Ты гордая жена, Германия» и т. д.». — Повторяем, Маркс менее отрицательно относился, повидимому, к пенсии Гейне, и во всяком случае не переставал считать его, в противоположность Фрейлиграту, революционным поэтом. Это нагляднее всего выявляется в следующем факте. В апреле 1848 г., уже в Кельне, Маркс какими-то путями узнал о завещании Гейне, составленном им 27 сентября 1846 г., где он уполномочивает доктора Германа Детмольдта в Ганновере и Генриха Лаубе на издание полного собрания своих сочинений и добавляет: «Мне было бы кроме того приятно, если бы Г. Лаубе приложил к полному собранию сочинений краткое жизнеописание». Маркс, повидимому, заключил из этого, что поэт снова завязал сношения с писателями бывшей «Молодой Германии», и поручил руководителю Парижской общины союза коммунистов, Фердинанду Вольфу, пойти к Гейне и спросить разъяснения по этому поводу, а также предложить ему сотрудничать в учреждаемом в это время органе партии, «Новой Рейнской газете». В ответ на это поручение Эвербек пишет 30 апреля 1848 г.: «Вместо брата Вольфа к Гейне пошел брат Эвербек; он заявил мне, что Лаубе поручено лишь приведение в порядок сочинений, которые останутся после него, в случае его внезапной смерти, хотя пока еще этой внезапной смерти опасаться нечего. Он заявил также, что не имеет ни малейшего дела со старой «Молодой Германией». У него нет готовой рукописи; но как только он что-нибудь закончит, прежде чем его прикончит смерть, он пошлет это в Кельн...

Что касается Гейне, — продолжает Эвербек, — то надо заметить, что малодушие этого терзаемого болезнью поэта (который еще долго может влачить подобное существование) поистине скандально. Он предсказывает вторую июльскую эпоху, немецкую реакцию; он хочет острить, но это ему плохо удается. Лучше всего удаются ему остроты по поводу «рвущейся в бой супружеской четы Гервегов, верхом»; он говорит, что это для него истинная услада; и, кажется, свою собственную скандальную денежную историю он считает только ridicule. Он открыто признается, что ежемесячно в течение многих лет регулярно получал свои 400 франков пособия, в качестве réfugié allemand, как раз столько же, сколько дон Мартинец-Роза. Кроме того, опубликованный список, кажется, очень искажен».

VII

К сожалению, Гейне так и не пришлось сотрудничать в «Новой Рейнской газете». В мае 1848 г. он вышел на свою знаменитую последнюю прогулку, чтобы уже навсегда слечь в «матрацную могилу». Правда, и из этой «могилы» он следил, насколько возможно, за революционными событиями во Франции и Германии.

Но, как уже отмечает в своем письме Эвербек, он расценивал ситуацию весьма пессимистически. Его сочувствие «великим февральским дням» скоро сменилось скептическим отношением к «временному правительству Франции», состоявшему, главным образом, из мелкобуржуазных демократов и социалистов; среди них он находил много «жалких комедиантов» и говорил, что никогда еще «народ, великий сирота, не вынимал из революционной урны пустых билетов более ничтожных, чем эти временные правители». По поводу известий о половинчатости революции в Германии и трусливом поведении немецкой буржуазии и мелкобуржуазной демократии, он только замечает, что «мне следовало бы быть в это время мертвым или здоровым». Несмотря на это, он все время интересовался событиями и откликнулся на них своими сатирическими стихотворениями. «Но, — пишет он, — я не могу заниматься ими много, потому что получаемые мною из отечества печальные известия действуют на меня так раздражительно, что мое здоровье только ухудшается каждый раз, как дойдет до меня такая весть».

В ответ на такие вести Гейне обычно писал какое-нибудь сатирическое стихотворение. Так, когда Франкфуртский парламент признал желто-красно-черное знамя национально-революционным знаменем, Гейне откликнулся на это стихотворением, в котором говорится:

Знамя то трехцветное знал я уж давно;
Наученный опытом, знал я, что оно—
Вестник для Германии всяческих невзгод,
Что с своей свободою распростись народ!

Арндта, Яна-батюшку вновь увидел я,
Всех героев доблестных старая семья
Из могил заплесневших стала выходить,
Чтоб опять за кесаря в грозный бой вступить.

Тут и буршеншафтеров собралась семья,
С коими в дни юности вел компанью я,
Кои в бой за кесаря тоже шли, когда
Напивались пьяными эти господа.

Михель же, привыкнувший с кротостью терпеть,
Снова спать отправился и пошел храпеть,
А когда проснулся он, тридцать пять князей
Охраняли вновь его нежностью своей.

(Пер. П. И. Вейнберга).

Избрание парламентом Фридриха Вильгельма IV в качестве Германского императора Гейне встретил гомерическим хохотом, написав сатиру на Якова Венедея «Кобес I» и в стихотворении «1649—1793—??» он показывает, как совершает революцию не-

цательный взгляд на Гейне, высказанный им в его статьях и письмах 1839—1842 гг. и выработанный под влиянием «Молодой Германии». Тогда Энгельс считал Берне «Иоанном Крестителем нового времени», «знаменосцем немецкой свободы, единственным гражданином Германии того времени», Гейне же, по его мнению, был свиньей, а его книга о Берне — «самое гнусное, что когда-либо было написано по-немецки» [1]. Но эти взгляды менялись по мере того, как Энгельс освобождался от влияния младогерманцев и, начиная с 1844 г., его пребывания у Маркса и, по всей вероятности, и у Гейне в Париже, его оценка Гейне совпадает с оценкой Маркса.

Наступила Февральская революция. Гейне, как мы видели, ужасно мучился; ожидание смерти среди этих страданий не мешало ему сохранять бодрость духа, но все же по временам эта бодрость уступала место мрачному отчаянию. Несмотря на это, Гейне следил за политическими событиями. В противовес Гервегу, образовавшему Немецкое демократическое общество, пропагандировавшему утопический план устройства революции кучкой эмигрантов при помощи вооруженного нападения на Германию и окончательно порвавшему из-за этого плана с Марксом, Гейне попрежнему поддерживал дружеские отношения с Марксом и его друзьями. Правда, опубликование после Февральской революции в «Revue Retrospective» списка лиц, получавших в течение ряда лет субсидию из тайного фонда министерства Гизо, — списка, в котором фигурировал и Гейне, на некоторое время омрачило, наверно, дружбу между Марксом и Гейне; подобно тому, как Маркс впоследствии весьма жестоко осуждал «попрошайничание» Фрейлиграта, когда рейнская буржуазия собирала для него 60 тысяч талеров, хотя и не выступал никогда публично против Фрейлиграта, так и поступок Гейне, как известно, произвел неприятное впечатление на Маркса и его друзей. И даже, когда шесть лет спустя Гейне в своем «Ретроспективном объяснении» (август 1854 г.) ко второй части «Лютеции» публично сослался вопреки истине на Маркса, Маркс и тогда смолчал. Гейне пишет: «Я помню, что в то время многие из моих соотечественников, в том числе решительнейший и умнейший между ними, доктор Маркс, пришли ко мне, чтобы высказать свое негодование по поводу клеветнической статьи в «Allgemeine Zeitung» и советовали не отвечать на нее ни одним словом, ибо они сами заявили уже в немецких газетах, что я, конечно, принял эту пенсию только с тою целью, чтобы иметь возможность деятельней помогать тем из моих единомышленников, которые беднее меня. То же самое говорили мне как бывший редактор «Новой Рейнской газеты», так и друзья, составлявшие его генеральный штаб; но я поблагодарил за милое

[1] Маркс и Энгельс, Соч., т. II, стр. 254.

участие и уверил этих друзей, что они ошибались, что я очень хорошо могу пользоваться этим пенсионом для самого себя, и что на злонамеренную анонимную статью в «Allgemeine Zeitung» мне должно отвечать не через посредство моих друзей, но лично от себя за своею подписью».

До тех пор, пока не была известна переписка Маркса и Энгельса, считали, что эти слова Гейне соответствуют действительности. И Каутский приводит их совершенно не критически, как доказательство интимных отношений между Марксом и Гейне в 1848 г. Но когда впервые была опубликована переписка между Марксом и Энгельсом (сокращенно) в 1913 г., то выяснилось, что дело обстояло совсем не так. В письме от 17 января 1855 г. Маркс пишет Энгельсу: «У меня имеется теперь три тома Гейне. Между прочим, он рассказывает подробно выдумку о том, как я и другие приходили утешать его, когда «Аугсбургская всеобщая газета» напала на него за получение денег от Луи Филиппа. Добрый Гейне нарочно забывает, что мое вмешательство в его пользу относится к концу 1843 г. и, следовательно, не могло иметь ничего общего с фактами, ставшими известными после Февральской революции 1848 г. Но пусть его. Мучимый нечистой совестью, — ведь у старой собаки чудовищная память на всякие такие пакости, — он старается льстить».

Но и без прямого указания Маркса должно было броситься в глаза, что «вмешательство» Маркса не могло иметь тогда места. Гейне здесь не считался с... датами. Ведь статья против Гейне появилась в «Аугсбургской всеобщей газете» 28 апреля 1848 г., а Маркс и Энгельс уехали из Парижа в Рейнскую провинцию уже... 7 апреля! Ответная статья Гейне, датированная 15 мая, напечатана в «Аугсбургской всеобщей газете» 23 мая.

Но значит ли это, что Маркс после Февральской революции порвал из-за пенсии с Гейне? Отнюдь нет. Впечатление, произведенное этим инцидентом на Маркса, обычно преувеличивают. Как никак, между «пенсией» Гейне и «попрошайничаньем» Фрейлиграта была большая разница. Гейне не состоял членом союза коммунистов, как Фрейлиграт; Гейне получал свою «пенсию», как политический эмигрант, а Фрейлиграт, принявший «дотацию» от «отечественной» буржуазии, по возвращении на родину на банкете в Кельне «торжественно» заверял своих «благодетелей» в том, что его революционная поэзия — дело прошлого и не должна больше никого беспокоить. Более того, когда во время франко-прусской войны он писал патриотические стихи и в январе 1871 г. посетил своих дочерей в Лондоне, он избегал встречи с Марксом, чтобы не скомпрометировать себя в глазах немецкой буржуазии. Маркс тогда писал о нем: «Благородный поэт Фрейлиграт в настоящее время у своих дочерей. Он не решается показаться у меня. Нужно заслужить 60 тысяч талеров, подаренных ему немец-

ной и полупомешанной деревенской бабе»[1]. Одним из лучших признается премиленький рассказ из мелкокупеческого быта «Грушка».

Гуманизм Достоевского вырастал на определенной классовой основе и из определенных классовых симпатий, которые побуждали его противопоставить свое понимание этого писателя оценке Чернышевского.

Достоевский, выразитель интересов реакционных отсталых групп мелкой городской буржуазии, не смогшей уйти из-под влияния феодализма, без сомнения стоял на стороне врагов революционно-демократической группы, отстаивавшей революционный путь борьбы за интересы крестьянства. Достоевский был представителем группы, связанной с городским ремесленником, который знал, что с приходом капитализма он должен погибнуть, так как машинный способ производства вытеснял ремесло. Городское цеховое ремесло было дряблой, неустойчивой группой. С другой стороны, в идеологии Достоевского сильны были помещичьи тенденции. Поскольку ремесло не в силах было опереться на пролетариат, который еще не вырос в те годы в России, а влияние феодально-помещичьей реакции мешало Достоевскому слиться с крестьянской демократией, в своей социальной программе этот идеолог почвенничества выступал сторонником застоя, сохранения существующего порядка. Для него характерно такое признание в статье 1862 г. («Время», кн. 2): «Народ наш беден и голодает вовсе не оттого, чтоб у него было мало средств к добыванию насущного хлеба. Земли у нас много, заработки недурны, по недостатку рабочих рук. Народ оттого беден и голоден, что невысок у него, по особым обстоятельствам, нравственный уровень, что он не умеет извлекать для себя пользу из тех огромных естественных богатств, какие у него под рукой. Значит, прежде всего нужно позаботиться об его умственном развитии»[2]. В этих словах проведены Достоевским защита дворянского землевладения и программа просвещения масс в духе подчинения народа власти помещика. Все это диктовало Достоевскому необходимость единства действия с дворянско-буржуазным либерализмом. В области критики Достоевский отдает предпочтение писателям этой группы перед Н. Успенским и решительно отрицает то истолкование, какое дал революционный демократ Чернышевский творчеству этого писателя.

Для Достоевского Успенский «явился после Островского, Тургенева, Писемского», и «нового не сказал еще ничего». Ни-

[1] Цитаты взяты из статьи Достоевского «Рассказы Н. В. Успенского», — первоначально напеч. в журнале «Время» 1861 г. декабрь; в перепеч. в XXII (дополн). томе полн. собр. соч. Достоевского, изд. «Просвещения», стр. 146—160.

[2] Соч., т. XXIII, стр. 153.

какой новизны у Н. Успенского, что подчеркивал Чернышевский, почвенник Достоевский не замечает. Больше того, по мнению Достоевского — те писатели (Тургенев, Григорович и др.), представители буржуазно-дворянского либерализма, а не Успенский, сказали правду о народе: «Да не подумает, впрочем, читатель, что мы хоть сколько-нибудь сравниваем, — пишет Достоевский, — его (Успенского) с Островским, Тургеневым, Писемским и т. д. Предшествовавшие ему замечательные писатели, о которых мы сейчас говорили, **сказали во сто раз более, чем он**, и **сказали верно, и в этом их слава**... В этих взглядах наше все: наше развитие, наши надежды, наша история» (разрядка наша. — Н. Б.).

Сравнение было невозможно для Достоевского уже потому, что даже «один из лучших рассказов Успенского «Грушка» — только одна капля выжимки, — по мнению Достоевского, — из третьестепенных лиц Островского».

Достоевский, как видим, отстаивает «правду» о народе, сказанную писателями дворянско-буржуазной группы. Еще резче выступает различие точек зрения Достоевского и Чернышевского на творчество Успенского, если сопоставить характеристику его рассказа «Обоз» с оценкой Чернышевского. Чернышевский так истолковал смысл рассказа «Обоз»: «Кажется, если бы г. Успенский написал только эти три-четыре страницы о народе (что составляют «Обоз»), мы и тогда должны были бы назвать его человеком, которому удалось так глубоко заглянуть в народную жизнь и так ярко выставить перед нами коренную причину ее тяжелого хода, как никому из других беллетристов». Иными словами говоря, Чернышевский видел в «Обозе» Н. Успенского художественное изображение причин бессилия народа для борьбы с угнетающим и мертвящим его самодержавным строем, поддерживающим темноту, невежество и забитость народных масс. Отсюда понятно было, почему народ еще не готов к революции.

«Обоз», по мнению Достоевского, написан для того, «чтобы посмеяться над мужиками, что они не умели считать». На первый взгляд можно подумать, что Достоевский поверхностен, не вдумался в суть явления. Дальнейшие слова разрушают возможность такого предположения и убеждают в том, что Достоевский обдуманно отводит и отвергает тот смысл, какой придал этому рассказу Чернышевский. «Нам кажется, что если уж просто, совершенно просто, без всяких предзаданных идей, — говорит Достоевский, — подходить к делу, то уж, по крайней мере не следовало бы клонить рассказ только к тому, как мужички считают. Не верим мы, да и не можем поверить, чтоб ничего, кроме этого, в действительности, в самом материале-то не было. Скажут: снаружи только это было на постоялом дворе, и больше ничего. Да разве это может быть? Конечно, было и другое,

писателей. Но, вдумавшись в дело, чувствуешь, что очерки г. Успенского — очень хороший признак. Мы замечали, что решимость г. Успенского описывать народ в столь мало лестном для народа духе свидетельствует о значительной перемене в обстоятельствах, о большей разности нынешних времен от недавней поры, когда ни у кого не поднялась бы рука изобличать народ. Мы замечали, что резко говорить о недостатках известного человека или класса, находящегося в дурном положении, можно только тогда, когда дурное положение представляется продолжающимся по его собственной вине и для своего улучшения нуждается только в его собственном желании изменить свою судьбу. В этом смысле надобно назвать очень отрадным явлением рассказы г. Успенского, в содержании которых нет ничего отрадного».

«Нынешние времена», столь отличные «от недавней поры», — это была революция 1861 года, вернее говоря, перспектива революции. «Но революционная обстановка, не приведшая к революции,— говорит Л. Каменев о 1861 годе[1],— все-таки была обстановкой революции, и понять Чернышевского невозможно, если не рассматривать его деятельность во всех ее деталях в связи с тем, что она была лишь отражением подготовки и нарастания революционного кризиса». Статья об Успенском писана в разгар, в момент подъема революционной волны в крестьянстве[2], и отзвуки революционных настроений в статье Чернышевского явственно звучат. До сих пор в литературе недостаточно обращено внимание на эту сторону дела; недостаточно оценили эту статью Чернышевского, как призыв к революции. Но этот призыв в ней есть, хотя и выражен в весьма скрытой форме.

Придя к выводу, что в очерках Успенского дана картина народной жизни «непривлекательная: на каждом шагу вздор и грязь, мелочность и тупость», Чернышевский заканчивает статью намеком на революционный путь выхода из этого положения для крестьянства. «Но не спешите выводить,— говорит Чернышевский, обращаясь к читателю «Современника»,— из этого никаких заключений о состоятельности или несостоятельности ваших надежд, если вы желаете улучшения судьбы народа, или ваших описаний, если вы до сих пор находили себе интерес в народной тупости и вялости. Возьмите самого дюжинного, самого бесцветного, слабохарактерного, пошлого человека: **как**

[1] См. в сб. «Очерки по истории русской критики», том II, под ред. А. В. Луначарского и П. И. Лебедева-Полянского, 1931 г., стр. 54.

[2] Следует напомнить известный факт, что с апреля по июнь 1861 г. произошло 647 крестьянских волнений, как это видно из отчета министерства внутренних дел (А. Герцена, Собр. соч., ред. М. Лемке, т. XI, стр. 110).

бы апатично и мелочно ни шла его жизнь, бывают в ней минуты совершенно другого оттенка, минуты энергичных усилий, отважных решений. То же самое встречается и в истории каждого народа» (разрядка здесь наша. — Н. Б.). Вместе с этим указанием на революционный путь борьбы, неизбежный для крестьянства, Чернышевский сумел протащить через цензуру и другое не менее важное указание на массовость революции, на участие в ней народа, ее низов, «дюжинных», «бесцветных» людей. Больше того, Чернышевский, писавший эту статью в атмосфере революционных сдвигов и приближающейся крестьянской революции, бросил смелую мысль о революционном восстании масс. Этот намек дан в следующем рассуждении Чернышевского. Указав, что Успенский показал «простофильство» мужика и приведя слова некрасовской «Песни убогого странника», Чернышевский говорит: «Жалкие ответы, слова нет, но глупые ответы... Ответы твои понятны только тогда, когда тебя признать простофилею. Не так следует жить и не так следует отвечать, если ты не глуп» (разрядка наша. — Н. Б.). Так оценил творчество Успенского Чернышевский, этот «мужицкий демократ» (Ленин), идеолог и вождь авангарда крестьянской революции, который в момент кризиса аграрных отношений, создавших условия для крестьянской революции, использовал творчество Успенского для противопоставления его дворянской буржуазной литературе, с ее либерализмом в подходе к крестьянству, и через это творчество писателя сумел провозгласить революционную идею борьбы крестьянства, сумел выразить призыв к революции. При всей осторожности, «акварельности» их выражения эти мысли отчетливо проникают статью Чернышевского.

III

Вслед за Чернышевским и в ответ ему Ф. М. Достоевский — один из вождей реакционного почвенничества — откликнулся статьей на издание рассказов Успенского. Каждый представитель того или иного класса по-своему оценивает литературные явления. И Достоевский, идеолог реакционного псевдодемократизма, автор «Униженных и оскорбленных», усмотрел в рассказах Н. Успенского отражение, прежде всего, классовой психоидеологии своей группы. «Самым замечательным из всех двадцати четырех рассказов Успенского Достоевский называет рассказ «Старуха». В этом рассказе, по словам Достоевского, «вас невольно поражает мысль о внутренней правоте народной нравственности, о глубине сердца народного и о прирожденной широкости его человеческих воззрений, и, главное, все это отражается так ярко, — повидимому, в последнем из созданий, забитой, загнан-

помещичьих хозяйств, помещичьих доходов, помещичьих приемов эксплоатации. Вторые — интересы такого развития, которое обеспечивало бы в наибольших, возможных вообще при данном уровне культуры, размерах благосостояние крестьянства, уничтожение помещичьих латифундий, уничтожение всех крепостнических и кабальных приемов в эксплоатации, расширение свободного крестьянского землевладения».

Писатели шестидесятники-народники и отстаивали второй путь, второй способ разрешения крестьянского вопроса. Разночинная интеллигенция естественно расслаивалась и по классовым интересам и по социальному происхождению. Но, тем не менее, перед лицом буржуазно-дворянских групп разночинцы-шестидесятники являлись единой группой, противостоявшей и боровшейся с буржуазно-дворянским либерализмом и крепостничеством, с его грубыми формами азиатской эксплоатации и политического бесправия крестьянства. Группа шестидесятников-разночинцев была единством, диалектическим единством в исторической борьбе в те годы с остатками крепостничества и растущим буржуазно-дворянским либерализмом. То же самое видим и в художественной литературе. При всей пестроте и множестве оттенков разночинческое художественное творчество в целом противостояло литературе дворянской. Этот стиль противостоял дворянско-буржуазной литературе и в смысле идейно-классового осмысления явлений, и в смысле тематики, и в отношении языковых изобразительных средств. Это в полной мере относится к творчеству представителей демократического и революционного крыла писателей — Н. Успенского, Ф. Решетникова, В. Курочкина, Н. Помяловского и др.

Новое идейное содержание, новая жизнь и новое к ней отношение в творчестве этой группы писателей определялись тем, что эти писатели стремились «поднять крестьянство на социалистическую революцию против основ современного общества» (Ленин). Мы подвергнем рассмотрению критику Н. Успенского, связанную с творчеством представителя этой группы. В творчестве этого писателя дано яркое художественное изображение одной из главных социальных сил той формации. Н. Успенский преимущественное внимание уделял крестьянству и деревне, рассказывал «правду без всяких прикрас» об этой жизни (Н. Чернышевский). Как же отнеслась и оценила критика шестидесятых и семидесятых годов произведения художника мелкобуржуазной и прежде всего крестьянской демократии?

II

Отношение критиков — представителей социальных групп, боровшихся в шестидеся тые-семидесятые годы, к Н. Успенскому

определялось классовым расслоением групп, интересами классовой борьбы, с творчеством представителя мелкобуржуазной демократии. Принятие или оспаривание, признание или, наоборот, осуждение за ошибки, за недостаток художественности, за якобы неверное изображение реальной действительности тем или другим писателем — вот две формы отношения критиков к писателям. И то и другое отношения вполне закономерно были обусловлены социальными причинами, условиями классовой борьбы разных социальных групп в области литературы.

Краткое обследование взаимоотношения критиков к писателям — яркая иллюстрация закона о классовой борьбе в прошлом двух лагерей: сторонников «прусского» и «американского» пути развития у нас капитализма. Творчество таких писателей, как Н. Успенский, В. Курочкин, Решетников, В. Слепцов, было художественным выражением психоидеологии революционно-демократической группы мелкобуржуазной интеллигенции, являвшейся авангардом революционно-настроенных крестьянских масс и отстаивавшей «американский» путь развития капитализма, путь революции. Таким образом объектом критики было творчество революционного авангарда русского крестьянства, отстаивавшего путь революционной борьбы с буржуазно-дворянским либерализмом и феодально-крепостнической реакцией. Посмотрим, как на этом-то оселке проявили себя представители других социальных групп, действовавших в истории русской критики в шестидесятые годы.

Наиболее ранним выступлением в критике по поводу сочинений Н. Успенского является критическая статья Н. Г. Чернышевского под названием «Не начало ли перемены?» (напеч. в журнале «Современник», 1861 г., № 11). Чернышевский, представитель той же группы, идеолог и политический вождь авангарда революционных крестьянских масс, прежде всего оценил в творчестве Н. Успенского то, что он пишет о народе «правду без всяких прикрас». Противопоставляя тут же этому писателю творчество писателей, дворян, идеализировавших крестьянина, Чернышевский утверждал, что «прежние отношения к народу, как будто к невинному в своем злосчастии Акакию Акакиевичу, никуда не годятся». Успенский знает это и берет на себя задачу показать недостатки живых мужиков. «Успенский выставил нам русского простолюдина простофилею, — говорит Чернышевский, — и если находим какое-нибудь качество в дюжинных людях русского мужицкого сословия, изображенных у г. Успенского, то в этом же самом качестве мы готовы уличить и огромное большинство людей всякого сословия». Однако в этом критик видит решительный поворот писателя к мужику, к народу: «Очерки Успенского производят тяжелое впечатление на того, кто не вдумывается в причину разницы тона у него и у прежних

лежа в «матрацной могиле», не принимал активного участия в повседневной политической борьбе, и к нему невольно относились более мягко. Но Маркс не закрывал глаза на политические ошибки Гейне. Это видно хотя бы из его письма к Энгельсу от 21 декабря 1866 г., где он пишет: «Старик Гораций напоминает мне местами Гейне, который многому у него научился, а в политическом отношении был по существу таким же прохвостом. Представьте себе этого честного человека, бросающего вызов в лицо присутствующему тирану и ползающего на брюхе перед Августом». При этом резком отзыве Маркс, повидимому, имел в виду 30-е годы, когда Гейне писал ядовитые сатиры против германских королей и князей и одновременно предлагал прусскому правительству свои услуги по изданию немецкой газеты в Париже в прусском духе! Но это не мешало Марксу почти одновременно называть Гейне в «Капитале» своим другом. Противоречия тут нет: в оценке всего Гейне, направления всего его творчества у Маркса и Энгельса не было двух мнений.

Н. Бельчиков

Н. УСПЕНСКИЙ И КЛАССОВАЯ БОРЬБА В КРИТИКЕ 60—70 ГОДОВ[1]

I

Борьба разночинцев и дворян в 60-е годы воспринималась современниками как борьба двух поколений, людей сороковых годов и людей шестидесятых годов. Несомненно, истоки этого столкновения лежат глубже, — именно в различии классовых интересов этих «поколений». «Отцы и дети» являлись представителями разных классовых групп, людьми разного отношения к действительности, людьми разных мировоззрений, разных настроений. Для разночинцев «труд, борьба — это наше призванье», как говорит в своем манифесте революционный разночинец И. Гольц-Миллер[2]. Пафос настроения революционных разночинцев питался другими социальными соками, чем у дворянской группы. Разночинцы, ненавидя барство, любили народ, с которым они были и социально близки. Они взяли на себя защиту интересов крестьянства, они боролись за то, чтобы лучше жилось крестьянству. Вокруг этого крестьянского вопроса ярче всего и обнаружилось классовое расхождение дворян и разночинцев в шестидесятые годы. В чем заключался социальный смысл борьбы этих групп в шестидесятые годы вокруг крестьянской реформы, Ленин объясняет так:

«Возьмем эпоху крепостного права,— писал Ленин.— Шла борьба из-за способа проведения реформы между помещиками и крестьянами. И те и другие отстаивали условия буржуазного общественного развития (не сознавая этого), но первые — такого развития, которое обеспечивает максимальное сохранение

[1] Статья эта является докладом, прочитанным автором 25 октября с. г. на заседании литературного Сектора ГАИС.

[2] Стихотворение И. И. Гольц-Миллера напечатано было в журнале «Русское Слово» 1863 г. № 6; в 1930 г. в изд-ве политкаторжан издан сборник стихотворений этого поэта, составленный Б. Козьминым и Г. Лелевичем; цитируем по этому сборнику (см. стр. 25 и 65).

но г. Успенский не заметил другого из-под своего взгляда, потому что ему важно было то, о чем он хотел писать».

Вопреки Чернышевскому, опровергая его, Достоевский не просто не догадывается о смысле и тенденции рассказа Успенского, а явно нейтрализует этот смысл и тенденцию рассказа. Таким образом, ясно, что у Достоевского имеем решительную переоценку творчества Успенского, противопоставленную Чернышевскому. Отрицание новизны и художественности (ведь Успенский пользовался «фотографической машиной», по уверению Достоевского), зачисление Успенского в слабые эпигоны либерально-дворянских и буржуазных писателей, упреки в цеплянье за ненужности (вплоть до кончика коровьего хвоста) и в отсутствии в рассказах Успенского единой мысли, целостного взгляда, нейтрализация того революционизирующего характера рассказов Н. Успенского, на какой указывал Чернышевский,— таковы основные пункты обдуманного выступления Достоевского. Как документ литературно-классовой борьбы, статья Достоевского представляет значительный интерес для эпохи. Почвенник Достоевский раньше других начал в своем журнале ликвидацию идей революционного демократа Чернышевского. Достоевский, выступавший с критикой эстетических взглядов «утилитаристов» Добролюбова, а вместе с тем и Чернышевского (разумеем его статью «Г-бов и вопрос об искусстве» — «Время», 1861 г., фавраль), в анализируемой статье об Успенском наносит обдуманный удар революционно-общественному выступлению вождя революционной демократии, призыву к революции «мужицкого, последовательного и боевого демократа» (Ленин). В целом эта статья говорит о том, что Достоевский разрушал в 1861 году не только эстетику разночинцев из «Современника», что отметил, например, Г. Берлинер в своей книге «Н. Г. Чернышевский и его литературные враги» (ГИЗ, 1930, стр. 130 и др.), но и наперекор революционному демократу Чернышевскому отстаивал путь реакции. Достоевский стоял в ряду политических врагов Чернышевского. Рассказы Успенского обнажили в 1861 году его столкновение с Чернышевским достаточно ярко.

IV

Орган умеренного либерализма «Отечественные записки» отозвались поверхностной рецензией на «Рассказы» Н. Успенского (изд. 1861 г.). Даже похвала, которой начиналась рецензия, носила слишком неопределенный, заученный характер. В основном же «Отечественные записки» не поняли творчества этого писателя.

«Г. Успенский, — читаем в рецензии, — любит говорить прежде всего — дело; худо ли, хорошо ли он расскажет, но по край-

ней мере старается попусту не исписывать бумаги; от этого на большей части его рассказов лежит отпечаток тяжеловатости, полезности, и лишь изредка он позволяет себе шалости вроде «Обоза», «Проезжего». Но мы, по своей недальновидности, предпочитаем эти шалости всем его дельным рассказам» («Отечественные записки», 1861 г., ноябрь, том 139, стр. 64). Разумеется, не недальновидностью, а определенной точкой зрения на искусство определяется эта повышенная оценка «шалостей» у Н. Успенского, выделение их в особую категорию «Отечественными записками». В итоге рецензент этого журнала, стоящий на позиции эстетической критики, являвшейся идейным блоком всех оттенков либерализма, ничего нового в книге рассказов Успенского не находит и сближает его с дворянской литературой: «У г. Успенского нет ни одного мотива нового, нет ни одного лица, которого бы не касалась литература точно так же, как г. Успенский». Это, несомненно, дальтонизм, автор не в силах был разобраться в глубоком несходстве народных рассказов этого писателя с барскими изображениями крестьян у Тургенева и других дворянских писателей-либералов. «Точка зрения г. Успенского на все эти лица точно так же нам знакома»,— заявляет рецензент и явно ошибается. Упрекнув Успенского в обилии бесцельной наблюдательности и грубой фактичности, под конец рецензент дает оценку шалостям — «Обозу» и «Проезжему», и сопоставление его суждений с оценкой Чернышевского убеждает в поверхностности анализа этого критика. Точнее говоря, здесь не узость, не ограниченность сказались, а классовый дальтонизм, благодаря которому самое ценное — идейно-политическое зерно этих рассказов — осталось незамеченным: «В «Обозе», в «Проезжем» вы сумели легкими штрихами коснуться того, что не поддается самому обстоятельному описанию... В этих рассказах вам дается и неподдельный юмор» (стр. 65). Сопоставление этих вялых суждений с отзывом Чернышевского приводит к мысли, что здесь перед нами также снижение общественной мысли, неприятие революционизирующего политического значения творчества Успенского представителем умеренной части буржуазного либерализма шестидесятых годов.

Другой орган умеренного дворянского либерализма «Библиотека для чтения», орган, также стоявший в ряду представителей «прусского» пути развития капитализма, поместил статью известного члена молодой редакции «Москвитянина», в прошлом славянофила, Е. Эдельсона. Этот критик не нашел ничего лучшего, как извлечь со страниц старых литературных споров примерно 1847 года аргумент о фальшивости натуральной школы, последователем которой якобы является Успенский и в силу чего он «заморозил свой талант на степени копированья во вред мысли и нравственному чувству». Но центральным пунктом возр

жений Е. Эдельсона, разумеется, также было опорочение взглядов Чернышевского. Не берясь за критику положений Чернышевского по существу, Е. Эдельсон ограничился одним очень прозрачным выпадом против революционного демократа, в те годы (статья Е. Эдельсона напеч. в мартовской книге 1864 года) уже сосланного на каторгу после двухгодичного заточения в Петропавловской крепости: «Вы постоянно спрашиваете себя, когда же, наконец, автор примется за свое настоящее дело и скажет что-нибудь от себя о той жизни, которой отдельные точки он рисует с таким мастерством. Это слово от себя, пожалуй, даже есть в книге г. Успенского, и одним из наших журналов принято было даже когда-то за новое слово о нашем крестьянстве; по своей общности и однообразию оно слишком недостаточно, чтобы сообщить писателю определенную, видную физиономию».

На два года раньше, в 1862 г., в № за 10 марта, «Северная пчела», продолжая традиции булгаринской «Пчелы», позволила себе еще решительнее выступить против Чернышевского. Приводимой фразой и ужалила «пчела» вождя «Современника», как бы сигнализируя правительству главного его врага: «У нее есть уже известного рода литературные цветочки, выросшие на журнальной почве, например, рассказы и повести г-на Успенского, вероятно, и ягодок на почве, возделанной г-ном Чернышевским с братиею, дождемся».

Так неслучайно имя писателя-демократа связывается с именем революционера-критика, политического вождя революционного авангарда крестьянской демократии.

После «Северной пчелы» через год попытку обезвредить Н. Успенского, как удачно показывал В. О. Перцов[1], сделал П. В. Анненков, друг Тургенева, представитель эстетической критики, выразитель интересов дворянско-либеральной группы.

Достоевский развенчивал Успенского как художника, указывая на ложность и д е й н о г о осмысления им крестьянского мира. Анненков как бы продолжает эту задачу и разбирает очерки Н. Успенского как эстетический жанр. Анненков стоит за изображение крестьянства в литературе, но только за изображение бытовизма, за художественную фотографию. «Литература должна была,— замечает Анненков,— рано или поздно приняться за свободную разработку простого человека в его бедной самостоятельности... В нашей литературе он (Успенский) занимает почти такое же место, какое в истории живописи занимает Теньер и другие подобные ему мастера, а это весьма почетное место»[2].

---

[1] Статья П. Анненкова напечатана в «С.-Петербургских ведомостях», 1863 г. № 11 за 13 января.

[2] См. его статью «Дворянский и разночинский очерк» («На лит. посту» 1930 г. № 15-16, стр. 140—142).

«Фламандской школы пестрый сор» и только — увидел в очерках Н. Успенского эстет Анненков. Смысл сравнения Анненкова удачно истолковал В. О. Перцов, говоря, что «социальное жало «голой правды» (Н. Успенского), того отсутствия идеализации, которое возвеличивал Чернышевский, через лестное сравнение с далеким Теньером, было ловко и незаметно выдернуто. Если Чернышевский выпячивал боевую роль очерков Успенского в тогдашних общественных условиях, то Анненков культурно ее смазывал» (там же, стр. 141). Надо сказать смелее, Анненков искусно с политической стороны снизил значение Успенского, исказил тот смысл, какой придал его очеркам критик «Современника», революционный демократ.

V

За исключением «Русского слова», вся журналистика шестидесятых годов, отзывы которой мы бегло здесь обозрели, оценивая рассказы Успенского, непременным долгом считала полемизировать и бороться с Чернышевским. Еще резче отрицательное отношение к оценке Чернышевского сказалось поздней, когда даже сам «Современник» счел нужным пересмотреть и исправить оценку Н. Успенского, данную Чернышевским. В литературе уже неоднократно указывалось, что народническая критика, расцвет которой пал на последующие годы, по-иному взглянула на рассказы Успенского о народе и на статью Чернышевского, поскольку она исходила из принципиально иных положений.

Заблуждением называл А. Скабичевский статью Чернышевского об Успенском и выступил со своей стороны в статье 1868 года «Живая струя» с «защитой» народа, а вернее говоря, с требованием идеализации народа, которую разрушил Н. Успенский и что одобрил Чернышевский. Скабичевский обвинял Успенского в клевете на народ, в насмешке над ним. «В его (Успенского) рассказах,— писал Скабичевский,— народ представляется в невообразимо безобразном виде: каждый мужик непременно или вор, или пьяница, или такой дурак, каких и свет не производил; каждая баба такая идиотка, что умопомрачение». Скабичевский даже утверждал, что факты, собранные Успенским, защищают крепостников, а не народ. «Немного нужно было подумать Н. Успенскому, чтобы понять, каким обоюдоострым оружием играет он... Н. Успенский рисует в этих очерках тупоумие и отсутствие здравого смысла в мужиках для того, чтобы внушить вам, до какого печального положения доведен мужик крепостным правом. Но факты, выставленные им, могут служить отличными доказательствами необходимости того же самого крепостного права. Приверженцы крепостничества на такие именно факты и опираются в своих доводах в пользу крепостного права, и очерки

Н. Успенского могут доставить отличный материал для них». Так, представитель «самодовольного, мелкомещанского» (Плеханов) демократизма — Скабичевский ликвидировал Чернышевского, увидевшего революционный смысл в очерках Успенского. Скабичевский повернул в обратную сторону дело, показав на двусмысленную якобы роль Успенского, выступившего в «роковую минуту освобождения крестьян». Но Скабичевский не был новатором. Начало этому перелому положено было раньше самим же «Современником». В 1864 году в майской книжке журнала Ап. Головачев дал иную, чем Чернышевский, трактовку творчества Успенского.

«Современник» эпигонов Чернышевского,— говорит Б. П. Козьмин, — во многих отношениях отошел от того, чем был «Современник» самого Чернышевского. Суммируя изменения, происшедшие в политической физиономии этого журнала за интересующие нас годы (1864-1865 гг.), мы должны будем констатировать, что его западнический характер постепенно ослабевал, и что в нем все сильнее и сильнее начинали звучать такие ноты, в которых нам явственно слышится приближение эпохи расцвета народничества. От революционного западничества к народничеству — вот путь, по которому шел «Современник», утративший Чернышевского» [1].

Нам представляется спорным видеть эпигона Чернышевского в Ап. Головачеве. Головачев был представителем мелкой городской буржуазии, колебавшейся между либерализмом и демократией, но не вросшей в демократизм и не бывшей непосредственно связанной с крестьянской демократией, как Чернышевский. Ап. Головачев скорее попутчик Чернышевского, который после ухода из «Современника» вождей революционного народничества занял их место. Разумеется, у попутчика и революционного демократа было и общее и противоречие во взглядах. Тождественным, сближающим их была неприязнь к барству, стремление выдвинуть представителей новой народнической литературы. Но у таких попутчиков, как Ап. Головачев, не было твердой революционной программы, не было убеждения в том, что решительная борьба есть единственный способ уничтожения бедствий, нищеты и страданий народа. У этого попутчика в отличие от Чернышевского были в те годы также колебания в сторону либерализма, культурничества и «малых дел». Таковым рисуется Ап. Головачев в своей статье о Н. Успенском, где он критикует Н. Чернышевского.

Второе издание рассказов Успенского в 1864 году дало повод Ап. Головачеву, не отказываясь от некоторых положений, раз-

[1] См. статья «Раскол в нигилистах», «Литература и марксизм», 1928 г., кн. 2, стр. 68—69.

витых еще Чернышевским, высказать свой взгляд на Успенского; а этот взгляд вытекает целиком из той социально-политической программы, какую эта группа начала теперь развивать в «Современнике».

Картина забитости, невежества и простофильства мужика, данная Успенским и названная Чернышевским «правдой без всяких прикрас», теперь подвергнута решительному порицанию. «В его (Успенского) отношениях к народу,— писал Ап. Головачев, — слышится не равнодушие или беспристрастие, а какая-то смесь высокомерия и презрения, напоминающая старого зажиточного барского бурмистра, попавшего в волостные старшины при освобождении крестьян».

В правде о народе без всяких прикрас у Успенского Чернышевский вычитал и революционное отрицание существовавшей действительности и призыв масс к революции,— Ап. Головачев ничего этого не видит, напротив, революционность крестьянской буржуазной демократии, что составляло сущность народничества (Ленин), вполне понятно отвела внимание Головачева в другую сторону: «Мнение его (Успенского) о народе,— заявляет Головачев,— не отличается глубиною и силою. Народ у него всегда глуп, необразован, грязен, подчас зол — и только: дальше автору ни до чего дела нет»[1] (разрядка наша— Н. Б.).

Ясно, что Ап. Головачев расходится с Чернышевским в основном, он не признал революционного значения творчества Успенского. В последних приведенных словах Головачева налицо программа либерально-культурного подхода к народу, требование мирной культурной работы в крестьянстве и явный отказ от революционного отношения к действительности с точки зрения крестьянства и отказ от революционной оценки значения крестьянства в этом переустройстве действительности.

Но Ап. Головачев, разумеется, отстоит от Скабичевского. Тем не менее последний у него заимствовал мысль о том, что якобы Н. Успенский говорит о народе свысока, что его наблюдения поверхностны. «Появление пошлого приговора (Успенского о бедности и невежестве народа) свысока, повторяет Скабичевский мысль Головачева, только и можно объяснить, что поверхностным взглядом на предмет, о котором пишет писатель, недостатком основательного изучения предмета и полным отсутствием хотя бы малейшего напряжения мысли».

Расходится с мещанским демократом Скабичевским Ап. Головачев и в понимании отношений Н. Успенского к либеральному сектору тогдашней литературы. Скабичевский, подобно

---

[1] См. его статью «Русская литература», «Современник», 1864 г., кн. 5, стр. 22.

Достоевскому, сближает эти два стана писателей и даже утверждает, что «Н. Успенский, хотя и целым поколением моложе их (Тургенева, Григоровича, Писемского)... но недалеко отошел он от своих отцов и дедов, если продолжает ничего не видеть в мужиках, кроме бессловесных скотов и олухов». Ап. Головачеву ясна социальная рознь двух групп писателей — старых и молодых. «Новый отдел нашей беллетристики, — говорит он, — образовался и стал рядом со старым, и оба они продолжают существовать, не смешиваясь друг с другом и ничего не давая друг другу; между ними даже замечается что-то враждебное, какой-то худо скрытый антагонизм». Сам он на стороне нового течения в литературе, и «будущие судьбы беллетристики отживающего типа (для него) несомненны и неинтересны». Большого художественного мастерства в произведениях Н. Успенского, Якушкина, Максимова, Слепцова Головачев не видит, новая беллетристика, по его мнению, носит этнографический характер. «Сцены, картины и очерки, воспроизводящие различные моменты из жизни крестьянина, являются как бы дополнением при описании нравов, обычаев и всей обстановки жителей известной местности»; правда, это дополнение «придает этнографическому описанию живой и художественный вид».

Таковы главные выступления критиков в связи с изданиями рассказов Н. Успенского в 1861 и 1864 годах.

VI

Подведем некоторые итоги.

От взглядов Чернышевского, признавшего у Н. Успенского правдивое изображение народа и видевшего в этом способ «поднять крестьянство на социалистическую революцию против основ современного общества» (Ленин), критика позднее отошла к культурническому оппортунизму позднейшего народничества, к мещанскому демократизму Скабичевского через постепенное выхолащивание политической сути вопросов, как их ставил и решал революционный демократ Чернышевский.

Естественно встают вопросы со стороны современного читателя, как следует расценивать творчество Успенского с точки зрения марксизма, и кто прав из критиков и кто из них, Чернышевский или Скабичевский и Головачев, ближе к верному пониманию писателя? Чья позиция, Чернышевского или Достоевского, выражала наиболее верно объективное понимание действительности?

Без сомнения, с точки зрения революционного марксизма — Чернышевский, а не Достоевский, выразил наиболее верно объективное понимание действительности и наиболее объективное отношение к художнику. В момент нарастания крестьянской ре-

волюции, революционный демократ, вождь революционного авангарда крестьянских масс вполне правильно, вполне объективно осмысливал настроение революционного крестьянства и соотношение классовых сил в стране. Революция была в перспективе, была возможность революции. Чернышевский был против барского, снисходительного отношения к народу, был против сусального изображения крестьянства, так как понятно, что слащавое изображение не дает возможности выяснить вождю, готово ли крестьянство к революции. От политических задач, поставленных крестьянской революцией на очередь, шел к оценке писателя Чернышевский. Вот почему в отношении его оценки Успенского нельзя сказать, что она восторженна или повышенна, нет: оценка Чернышевского является объективно верной, классово выдержанной и наиболее близкой, приемлемой для нашей современности. У Чернышевского не было натяжки, тенденциозности в понимании Успенского, хотя Успенский, разумеется, не имел в виду тех выводов, какие сделал критик на основании его произведений.

Чернышевский не указал и не объяснил зависимость и связь художественного творчества и убеждений писателя; он обошел вопрос о политических взглядах автора, это было неизбежно и в силу политических и цензурных условий. Затем Чернышевский в области искусства держался теории наивного реализма, и, следуя этой теории, вскрывал прежде всего и главным образом только действительность, объект, оставляя вне анализа субъект творчества. Н. Успенский стоял на более низком уровне классового сознания, чем Чернышевский. Критик вкладывал такое понимание явлений, чего художник и не высказал определенным образом в своем творчестве. Но писатель был близок к критику в понимании событий.

Правда, в распоряжении современного исследователя мало материалов для суждения о социально-политических взглядах Н. Успенского; тем не менее в одном его письме к К. К. Случевскому, 24 июня 1861 года, из Парижа, встречаем очень показательные строки, рисующие отчетливо социальный идеал и позицию Н. Успенского в классовой борьбе того времени. «Но находятся же такие пакостные люди, как, например, Боткин, которые стоят за Александра Николаевича (т. е. за царя). Боткин, когда я сказал, — пишет Н. Успенский, — что мне Рим не понравился, как всякий город, задыхающийся от бедности и лишений, потом, что манифест русский — вероятно вздор, и что я не верю в освобождение, он меня принялся ругать закорузлым невеждой (я у него спросил, не болит ли у него желудок, — он сказал, что точно, пищеварение трудно совершается) потом сказал:

«Новые положения, недавно объявленные правительством, — превосходны, и пусть ваш мужик околеет, если не воспользуется

зуется этими положениями, — наконец он заключил: а я давно говорил Герцену про Александра Никол(аевича): «не ругай ты его, пожалуйста»! Да, как Герцену, так и Боткину пора-пора прочитать отходную, а то просто спеть вечную память! Знаете, что теперь Герцен пишет: «Мозг разлагается, кровь стынет в жилах при рассказах о ужасах в России». Это говорит тот, кто до сей поры все изливал свою веру и надежду на Алекс(андра) Н. Да! По всей вероятности — у этих людей мозг уже разлагается... а у Боткина первого, это я знаю верно»[1]. Н. Успенский идейно отмежевался от Боткина и от Герцена, он не в стане либерализма, ни на стороне колеблющегося между либерализмом и демократизмом Герцена, в котором «демократ все же брал верх» (Ленин). Успенский на стороне революционных разночинцев, т. е. на стороне Чернышевского. Это письмо значительно восполняет пробел в политическо-идейном облике Н. Успенского. Оно вполне определяет если не социальную программу, то ту тенденцию, которую отстаивал писатель в своем творчестве, — тенденцию, близкую Чернышевскому, ставящую Н. Успенского безусловно в ряды революционных демократов, стоявших за «американский» путь развития капитализма.

Основные пункты в статье Чернышевского таковы: во-первых, стремление к постановке вопроса о революционном способе низвержения крепостнических порядков и, во-вторых, о революционной инициативе масс в разрешении этой, грандиозной и сложной задачи; в-третьих, истолкование творчества Н. Успенского, писателя «правды о народе без всяких прикрас», как революционное отрицание действительности и противопоставление Успенского либерально-дворянской литературе.

Критик «Современника» оказался не только в одиночестве, но и создал против себя единодушный вражеский фронт. Даже радикальное «Русское слово» не пошло вслед за Чернышевским. И Всев. Крестовский и анонимный автор обзора (в февральской книге «Русского слова» за 1862 год) острейшую проблему низвержения крепостнических порядков путем революционного подъема народной массы подменили узкой задачей эмансипации личности и защитой частной собственности. Так рассказ «Грушка» был понят как художественное изображение протеста против косности, домостроевщины, угнетающих личность женщины («Русское слово», 1862 г., кн. 2), а очерк «Хорошее житье» Всев. Крестовскому дал повод протестовать против бесправия и встать на защиту собственности. «В этом очерке, — писал он, — вы увидите довольно общие черты крестьянского сословия в его общественном быту. Вас даже поразит это отсутствие всякого чувства законности, чувства уважения свободы лично-

[1] «Щукинский сборник», вып. 7. М. 1907 г., 330 стр.

сти и чужой собственности, эта общая деморализация» («Русское слово», 1862 г., кн. 1).

Борьба за эмансипацию личности носила сама по себе в тот момент, в 60-е годы, освободительный характер. «Семейно-бытовые вопросы в шестидесятые годы представляли собою большую важность. Тогда впервые в России ставился вопрос об эмансипации женщины, — и крепостники, явные и тайные, стеной встали на защиту домостроевских начал. Крепостничество лежало в основании всех сторон жизни русского общества и государства, в том числе и в основе семейно-бытовых отношений... Призыв к замене в этой сфере понятий обязанности и долга свободным влечением и непосредственным чувством был в самом деле прогрессивным и на очереди дня стоявшим призывом»[1]. Но, тем не менее, это было снижением постановки вопроса «Современником», это был уход в узкую сферу семейной реформы от огромной политической задачи, от революционной борьбы в области экономических отношений и политической власти. Яснее станет позиция критиков, если мы поставим шире вопрос. Обе рецензии «Русского слова» не дают достаточно материала, но в распоряжении исследователя есть самый журнал и статьи в нем наиболее видного радикального разночинца Писарева. Исследования В. Кирпотина и Б. Козьмина показали, что Писарев в этот момент, в начале 1861 года, держался очень умеренной позиции. В статье «Схоластика XIX века», вождь группы «Русского слова» сделал попытку найти примирение между Чернышевским и Катковым, там же Писарев противопоставляет программу эмансипации женщины разбору вопросов «гражданственности народной жизни». «Весной 1861 года, уже после акта 19 февраля, Писарев пытался своей «Схоластикой» совлечь русскую публицистику с рельс политической борьбы на рельсы моральной проповеди, в целях преобразования семейно-бытовых условий жизни»[2]. Критики «Русского слова» вторили Писареву. Поэтому мы в праве рассматривать позицию этих критиков, как попытку перейти с позиций классовой борьбы на позиции мелкобуржуазной иллюзии, будто реформа узкой сферы общественности — семьи — даст радикальные результаты. Иллюзия выглядела революционно, а на самом деле она помогала укреплению буржуазно-дворянского либерализма.

Здесь если и нет открытой борьбы с Чернышевским, то есть непризнание его и желание перенести вопрос о революционной борьбе в узкую плоскость семейно-бытовых отношений.

---

[1] В. Кирпотин, Радикальный разночинец, «Прибой», 1929 г., стр. 113-114.

[2] Там же, стр. 112.

Другая группа критиков (почвенников, либералов и правых народников), как мы видели, пошла еще дальше в своей борьбе с Чернышевским.

Противопоставляя свое понимание взглядам Чернышевского, эти критики последовательно оспаривают и все основные пункты статьи Чернышевского.

У этих критиков мы видели затушевывание и даже прямое отрицание революционизирующего значения творчества Н. Успенского, видели скат к культурничеству, к идеализации народа и полное игнорирование актуально-политического значения художественного творчества этого писателя. Идеализаторы народа в меру своего классового зрения, понимали творчество Успенского так, как подсказывала им их классовая природа, но идеологические споры определялись еще также взаимоотношением классов, интересами классовой борьбы вокруг двух путей развития капитализма. Перед нами в этой борьбе два стана: стан революционной демократии во главе с Чернышевским, и стан — враждебный ему, стан буржуазно-дворянского либерализма всяких оттенков; сюда же примыкали не только реакционные группы почвенников, славянофилов, буржуазных либералов умеренного толка, но и группа радикальных разночинцев во главе с Писаревым.

Такой блок Писарева с либералами произошел вторично позднее — именно в 1865 году, т. е. тогда, когда Писарев отошел от революции и перешел на рельсы прогрессивного направления. След этого объединения Писарев с либералами сказался в трактовке им вопроса об отношении к народу либерально-дворянской литературы. Мотив этот об отношении Успенского к народу, проблема о преемственности или нарушении им традиций в литературе, заложенных дворянской литературой, перерастал в вопрос о том, чье правдивее отношение к народу, — разночинца, революционного демократа или либерала-дворянина.

А то или другое решение этого вопроса означало или борьбу с дворянско-буржуазным либерализмом или союз с ним. Чернышевский вел борьбу с либерализмом. «От его сочинений веет духом классовой борьбы. Он резко проводил линию разоблачений измен либерализма» (Ленин).

Писарев в статье «Реалисты» (1864 г.), в унисон с буржуазно-дворянскими критиками, признал правоту отношения представителей дворянской литературы к народу. Об отношениях Базарова к народу, нарисованных Тургеневым, Писарев заявил: «В отношениях Базарова к простому народу надо заметить прежде всего отсутствие всякой вычурности и всякой сладости. Народу это нравится, и потому Базарова любит прислуга, любят ребятишки, несмотря на то, что он с ними вовсе не миндальничает и не задаривает их ни деньгами, ни пряниками». Нам те-

перь понятно, что оспаривание этого пункта программы Чернышевского, это признание одинаковости отношений демократа и либерала-барина к народу означало — подать руку либерализму. Это не уступка, а полный отказ от завоеваний, сделанных Чернышевским в «Современнике» пять лет тому назад.

Оценка Чернышевского была вершиной в истории критической мысли шестидесятых годов, до какой не смогла подняться ни одна из общественных групп ни тогда, ни позднее. Точка зрения Чернышевского стала предметом общего оспаривания (прямых выступлений не делало только «Русское слово», но оно и не поддерживало Чернышевского). Даже прямые последователи «Современника» (Ап. Головачев) не поставили вопроса в плоскости революционной ликвидации буржуазно-помещичьего строя, при условии революционной активности масс, как предполагал разрешить эту задачу революционный демократ и утопический социалист Чернышевский. Критиками других групп отвергнуты были, как мы видели, все основные пункты программы Чернышевского. Открыто больше всего оспаривали мысль об антагонизме Н. Успенского с буржуазно-дворянской литературой, мысль о разрыве, о противопоставлении и разности художественных методов Н. Успенского и писателей-дворян — Тургенева, Григоровича и других. Открыто не признавали новизны содержания у Н. Успенского, доказывали отсутствие художественности, единства мысли и т. д. Не открыто — это означало борьбу и ликвидацию политического революционного значения творчества Н. Успенского, какое утверждал Чернышевский. Не открыто — это означало, что отвергалась революция, как единственный путь к раскрепощению масс, не признавалась возможность революционной инициативы масс в этом деле, что прикрыто, шопотом, но отчетливо высказал вождь революционной крестьянской демократии, — все это решительно отвергалось, и подменялось узкими проблемами семьи, учебы у писателей-дворян и т. п.

VII

Разберемся в том, как оценил творчество Н. Успенского представитель революционного демократизма, П. Н. Ткачев.

Отношение Ткачева к Н. Успенскому представляет сложный вопрос. Ткачев выступил против Н. Успенского. В статье «Разбитые иллюзии» (1868 г.) Ткачев, «не желая обвинять Н. Успенского в сознательном служении интересам крепостного права и «обскурантизму», признавая «благороднейшие, и во всяком случае самые безвреднейшие побуждения» со стороны Н. Успенского, утверждал, что рассказы именно Н. Успенского «по своей основной тенденции написаны в интересах крепостничества, что они пропитаны духом барского высокоме-

рия, что, разрушая одну иллюзию, они благоприятствуют другой и что изображаемые ими факты скорее говорят в пользу проповедников выжидания, невмешательства, чем в пользу их антагонистов». Сторонник якобинства не усмотрел в рассказах Успенского союзника своим революционным планам. В чем здесь дело? Социальную революцию, по мнению Ткачева, совершают не массы, как представлял дело Чернышевский, а революционное меньшинство интеллигенции, путем захвата власти. «Ученик Маркса, Ткачев, — говорит Б. П. Козьмин, — далеко отошел от идей своего учителя в вопросе о социальной революции в России. Все свои расчеты Ткачев строил не на пролетариате, а на революционных слоях разночинной интеллигенции... Эта программа революции носит отчетливо якобинский характер и показывает, что в области вопросов политических Ткачев был учеником Бланки»[1]. В революционную инициативу крестьянства Ткачев не верил и в той же самой статье он предостерегал читателя от опасности «возложить слишком большие упования на народ», полагаясь на идеализированное изображение народа в рассказах писателей-народников.

Писатели-народники (и крепостники и антикрепостники), по мнению Ткачева, поддерживали и возбуждали такую иллюзию, создавая в своих произведениях ложное изображение народа. «Под влиянием интересов крепостничества крестьяне наши сперва, благодаря усилиям поэтов-прихлебателей, возведены были в сан изящных и привычных пейзанов, — писал Ткачев, — а потом, благодаря недогадливости рассказчиков-скоморохов, превращены в шутов, потешающих нас своею беспримерною глупостью. Мы сказали также, что рядом с этой идеализацией народной жизни, идеализацией, вызываемой крепостным правом, шла идеализация другого рода, вызываемая оппозицией крепостному праву. В народе видели какую-то великую силу, какие-то великие задатки, какой-то удивительный гений». Ткачев далее конкретно указывает, кого именно он разумеет под группой писателей-скоморохов, — это в первую очередь Н. Успенский. «В литературе идеализация народа, вызванная оппозицией крепостному праву, породила, — говорит Ткачев, — особый тип рассказчиков из «народного быта», которых мы, в отличие от рассказчиков-скоморохов, назовем психологами, так как их занимает, главным образом, не внешнее проявление глупости, грубости и подлости мужика, а внутренние психологические побуждения, руководящие его действиями. Скоморохи потешали публику рассказами о свиньях, о мертвых телах, о змеях, о злополучном Ахреме, о смеха достойном Анкиндине Тимофееве и т. п.».

[1] См. «Очерки по истории русской критики» под ред. А. Луначарского и Вал. Полянского, том II, стр. 270.

В последних словах явные намеки на рассказы Н. Успенского; прямо перечислены названия его рассказов: «Поросенок», «Змей» («Свиньи» — название рассказа В. Слепцова); злополучный Ахрем — герой рассказа «Хорошее житье», как и Акиндин Тимофеев; Н. Успенский — писатель-скоморох; Марко Вовчек и Левитов — рассказчики-психологи.

Дальнейшая сравнительная характеристика значения творчества этих двух групп до конца проясняет отношение Ткачева к Н. Успенскому: «В народных рассказах Левитова и других проглядывает гуманно-сочувственное отношение к народу; они не издеваются и не потешаются над ним, они не забавляют своих читателей казусными анекдотами à la г. Успенский или Слепцов; они стараются анализом внутреннего мира крестьянина расположить читателя в его пользу». Так воспринял творчество Н. Успенского Ткачев. Как же объяснить, что Ткачев — сторонник революции, увидел обратное, чем Чернышевский, и оценивал диаметрально-противоположным образом, чем Чернышевский, творчество Н. Успенского? Перед нами факт различного отношения к одному и тому же явлению двух представителей революционной мысли шестидесятых годов, по-разному осознавших свое отношение к народу и представлявших по-разному путь классовой борьбы. Ткачев ставил целью революционное восстание в духе Бланки, — Чернышевский отстаивал возможность революционной инициативы масс. Ткачев — бланкист, якобинец; Чернышевский — революционный демократ, идеолог крестьянской массовой революции.

Однако, это были два представителя одного класса, но по-разному относившиеся к народу, по-разному понимавшие революцию. Чернышевский хотел произвести революцию в интересах массы и через народ, силами народа; Ткачев также стоял за революцию для народа, но совершить революцию он предполагал не через народ, а силами революционного меньшинства. Можно поставить естественный вопрос: под влиянием каких обстоятельств могло так измениться отношение к народу у Ткачева, по сравнению с Чернышевским? Восемь лет, протекшие между выступлениями того и другого критика, убедили Ткачева, что распыленная масса крестьянства не в силах сама вести организованную, планомерную борьбу. Нужен сознательный двигатель этой массы для поднятия ее на борьбу. Такого агента Ткачев и усматривал в представителях революционной мелкобуржуазной группы интеллигенции. Поводом для приведенных суждений Ткачева о соотношении массы и героев мог быть каракозовский выстрел и другие явления из жизни революционной России того времени. Ткачев под влиянием всего этого выработал программу революции сверху, от героя, от авангарда революции. Напротив, Чернышевский стоял за революцию снизу, силами самих масс

Надо принять во внимание, что Чернышевский выступал в момент назревания революционной ситуации, а Ткачев — в эпоху реакции. Таким образом в программах двух революционеров-идеологов, Ткачева и Чернышевского, дано диалектическое противоречие, двойственность сознания в пределах одного класса, которую сумел объединить и снять в своей тактике пролетариат, точнее говоря, большевизм, который в своей программе и в самой тактике проводил принцип революции силами масс при участии и под руководством партии. Разумеется, в последнем случае имеем качественно отличное явление, чем у первых: в одном месте мелкая буржуазия, в другом — пролетариат и его идеологи [1].

Большевизм сумел разрешить проблему массы и вождей, диалектически сняв это противоречие в своей тактике. Но в шестидесятые годы эта проблема была поставлена и разрешалась по-разному двумя революционными представителями класса мелкой буржуазии, выражавшими по-разному интересы крестьянской демократии. В чем отличие и откуда проистекали различия в решении этого вопроса, мы уже видели.

Для характеристики социально-политических взглядов Ткачева, его тактики оценка творчества Н. Успенского в сравнении с оценкой Чернышевского показательна, как прямое доказательство воздействия на литературно-критическую оценку именно социально-политических взглядов. Политика определила критическую оценку и отношение Ткачева к писателю.

Ведь Ткачев выступал последовательным сторонником критической теории Добролюбова, склонным даже упрекать в непоследовательности самого Добролюбова, он оспаривал Писарева и, тем не менее, оценил Н. Успенского иначе, чем вождь «Современника» Чернышевский, идейное родство с которым Добролюбова неоспоримо. Б. П. Козьмин объясняет отрицательное отношение Ткачева к Н. Успенскому и Слепцову тем, что Ткачев видел в них представителей эмпирической беллетристики, которая в понимании Ткачева «сводится к бесстрастному протоколированию и копированию действительности» [2].

Б. П. Козьмин не учел сущности рассуждений Ткачева об Н. Успенском. Приведенные выше цитаты убедительно говорят

---

[1] М. Поташ говорит: «Хотя в каждом из указанных трех типов (пропаганда, агитация, заговор) тактики (народничества—Н. Б.) и есть элементы, которые впоследствии вошли в революционную тактику пролетариата как органическое целое, однако на данном этапе эта чрезвычайно важная проблема не получила достаточного разрешения. Она... не была разрешена и революционным народничеством. Только подлинная классовая партия пролетариата на позднейшем этапе революционного движения могла ее разрешить» («Народнический социализм». ГИЗ. 1930 г., стр. 73).

[2] См. том II «Очерков по истории русской критики», стр. 285.

о том, что Ткачев не упрекал Н. Успенского в бесстрастии и эмпиризме, а видел в нем именно тенденциозного идеализатора народной жизни и такого, который бессознательно, но объективно неизбежно помогал крепостникам. Тенденциозность Н. Успенского отшатнула от него Ткачева.

VIII

Критик-публицист «Дела» П. Н. Ткачев, осуждая писателя, выдвигал революционную программу социального переустройства жизни народа, каковая вызвала через год решительную отповедь со стороны критики либерального органа «Вестника Европы». Изложим сначала взгляд либерального критика на творчество писателя, а затем покажем, как он через голову писателя рассчитался с революционным планом Ткачева улучшения условий жизни нецивилизованной массы, как называл народ Ткачев. Е. И. Утин в статье, посвященной в основном разбору творчества Решетникова («Задача новейшей литературы» [1]), признав в Успенском талант, не нашел у него склонности к психологическому изображению крестьянства: «Николай Успенский, — писал Утин, — дал нам довольно много мастерских отрывков, удачных сцен, представил типические стороны народного характера, но вы напрасно стали бы искать у него резко очерченных лиц, психологического анализа, законченных рассказов). Не ценя в Н. Успенском художника, Е. Утин вслед за тем умаляет и идейный уровень его творчества. Н. Успенский, как ему представляется, просто фотографирует (копирует) действительность, не освещая ее идейным пониманием. «Он передает, — пишет Утин, — чрезвычайно рельефно, что ему случалось видеть и слышать, и это, конечно, уже большая заслуга; но рассказы его делают то впечатление, как будто бы он никогда долго не задумывался над тем, что видел и слышал, никогда не углублялся до корня, до причины, до внутренней стороны подмеченных им явлений и характерных народных черт. Ему, собственно говоря, нет дела до смысла его рассказа». Либеральный критик готов сожалеть об этом, поскольку это вызовет размышление у некоторого круга читателей о причинах народного положения. Его меньше тревожит судьба «не привыкших задумываться над тем, что они читают», таким рассказы Успенского «будут нравиться как юмористические сцены из народного быта, они вызовут смех над простоватостью русского мужика — и только». Опасения внушает другая категория людей, «которые любят доискиваться до корня того или другого явления»... И рассказы Успенского «наведут такого рода читателей на очень грустное раздумье».

[1] Первоначально напечатана в «Вестнике Европы», 1869 г., декабрь, перепечатана в сборнике его статей «Из литературы и жизни», т. I, СПБ, стр. 18—78

Либерал, как и следовало ожидать, поддерживал status quo. В своей критике он не двинулся дальше указаний чисто литературного порядка, — он видел выход в избежании писателем поверхностных изображений, хотя писатель этим и не страдал; он требовал отказа от безучастности, хотя художник не был равнодушен, а глубоко тронут судьбой закабаленного крестьянства. Либерал, наконец, отстаивая по существу интересы дворянства и буржуазии, стоял в стане врагов народа, т. е. сторонников «прусского» пути, требовал от литературы, чтобы она защищала интересы господствующих классов. «Ошиблись бы, разумеется, — писал Утин, — те, которые вздумали бы утверждать, что новое направление в литературе должно замкнуться и ограничить свой круг изображением исключительно одних мужиков. Для того, чтобы литература сделалась народною, ей не нужно суживаться, потому что ограничение себя одним только слоем низших классов народа было бы в конце концов, может быть, так же вредно, как и ограничение одним только слоем высших классов народа». Кого же еще должна показать литература, освещая «мрачные стороны народной жизни сильным лучом знания, развития, образованности»? (31 стр.). Это — без сомнения, класс помещиков, аграриев, крупных землевладельцев. Из следующих слов Утина это станет очевидным: «Нужно только одно,— настойчиво говорит либерал, — чтобы в произведениях писателей изображались лица, не чуждые народу, чтобы они тесно связаны были бы друг с другом общественными интересами, чтобы стремления одних не были чужды, противоположны стремлениям других, чтобы лица, выводимые писателями, были близки, понятны народу, чтобы жизнь этих лиц была, одним словом, неразрывно переплетена с жизнью народа, с разумно понятыми его интересами». Кто же мог «разумно понять» интересы народа по мнению либерала, как не помещик? К кому, как не к помещику-аграрию, был прикован цепью мужик? Либерал защищал интересы дворянства и из боязни крестьянской революции давал совет писателям обелять помещиков, внушать народу о них представление как о радетелях его блага.

Е. И. Утин пытался ослабить критику Ткачева, направленную против либеральных проектов устранения нищеты и бедности, сковавших «невежественную толпу». Ткачев в своей статье решительно осудил либеральные меры, сводившиеся к просвещению массы: «Фарисействующие моралисты и просветители народа хотят во что бы то ни стало объявить нравственную неразвитость масс, — их умственным невежеством... Грамотность и образование вещь прекрасная, — пишет Ткачев, — но она не внесет любви, мира и согласия в семейный быт, в семейные и домашние отношения голодного работника». Грамотности мало, она бессильна. Сила в борьбе масс: «Действуя порознь, в оди-

ночку, они бессильны — истина эта так очевидна, что в подтверждение ее нет надобности приводить примеры из произведений Решетникова; будучи бессильными, они не могут с успехом бороться с окружающей бедностью; не победив окружающей бедности, они не в состоянии подчинить свою деятельность требованию своего сознания, т. е. не в состоянии действовать сообща, солидарно». Утин и взял на себя задачу доказать обратное. Ему, как представителю буржуазии, «свойственно было ненавидеть якобинство» (Ленин) и бояться революции. Либерал Утин выдвигал другой путь реформы. «Народная жизнь, построенная на самых чудовищных основаниях, венцом которых было крепостное право, должна была теперь п р е о б р а з о в а т ь с я на основании более разумных начал», — писал Утин в своей статье 1869 года. Ткачев определенно стремился революционизировать действительность путем вмешательства цивилизованного меньшинства. Утин выдвигает либеральные меры общественного переустройства мирным путем преобразований, сводившиеся в сущности к частным поправкам существующего строя. Социально-политическим суждениям Ткачева либерал Утин противопоставлял требование расплывчатого психологизма в литературе, требование поэтических тонкостей и требование от народной литературы изображения помещиков. Все это было закономерно и понятно в устах либерала в семидесятые годы, ибо «либералы, по определению Ленина, были и остаются идеологами буржуазии, которая не может мириться с крепостничеством, но которая боится революции, боится движения масс, способного свергнуть монархию и уничтожить власть помещиков». Все эти черты налицо в статье Утина.

На этом и заканчивается борьба в критике вокруг Н. Успенского.

IX

К семидесятым годам борьба и споры вокруг Н. Успенского затихают. Новые издания сочинений Н. Успенского (в 1871, 1872 и 1876) проходят незамеченными. Появившаяся после выступлений Ткачева и Утина заметка в «Отечественных записках» (1877 г. № 2) по поводу трехтомного издания сочинений Н. Успенского прежде всего указывает, что творчество этого писателя является давно забытым.

Н. Успенский был забыт в семидесятые годы, разумеется, по причинам не эстетическим, а социальным. В шестидесятые годы Н. Успенский привлекал большое внимание, как писатель, заговоривший о народе одним из первых и притом наиболее ярко и отлично от писателей-дворян. В семидесятые годы его «трезвая правда» о народе стала в противоречие с народнической идеализацией мелкого производителя. Революционное народни-

чество семидесятых годов исходило из преувеличения сил народа, его склонности к восстанию, к борьбе. Действительность скоро разбила эту утопию народников. Н. Успенский изображал народ далеким от представления народников, — он показал темноту, забитость народа, его «простофильство». Естественно, что творчество Н. Успенского в семидесятые годы могло влиять на народников, понижая революционную энергию участников движения. Следует принять во внимание также дальнейшую эволюцию Н. Успенского. В семидесятые годы в его творчестве зазвучала другая тематика, — он пишет рассказы не только о крестьянстве, но и о мелком усадебном дворянстве, чиновничестве, интеллигенции, окрашивая некоторые очерки юмористикой «горбуновского жанра». Не решая вопроса, в силу каких влияний создал такие очерки Н. Успенский, возможно утверждать, что вторая струя также отдаляла писателя от народников. Критика этой стороны творчества не касалась; интерес весь сосредоточивался на народных очерках. Затем Н. Успенский с 1862 года стал печататься в «Русском вестнике». Это участие в ультрареакционном органе многим казалось беспринципностью писателя и наравне с другими биографическими фактами (история с Тургеневым и т. п.), получившими в общественном мнении соответствующую оценку, отражалось на отношении к Н. Успенскому прессы, поддерживало и увеличивало отрицательное отношение к нему со стороны народников и других групп.

Большая часть критиков, прошедших перед нами, является представителями мелкой буржуазии; революционность или реакционность позиции критика определялась тем, куда склонялись его симпатии, к какой социальной группе он мог прислониться. Идеолог мелкой городской буржуазии приобретал революционность при условии, если он сумел приблизиться и опереться на крестьянскую демократию, которая поддерживала его своей силой и могла внушить ему революционные настроения и обеспечить наиболее верное понимание действительности.

У Ленина мы имеем очень верное указание на этот счет. В 1907 году он писал: «Городская беднота не представляет ни самостоятельных интересов, ни самостоятельного фактора силы, по сравнению с пролетариатом и крестьянством. Решающая роль за деревней, не в смысле руководства борьбой (об этом не может быть и речи), а в смысле обеспечения победы» [1].

Таким образом, получалось, что идеологи мелкой городской буржуазии, которые в шестидесятые годы не сближались окончательно с революционной крестьянской демократией, или колебались между революцией и либерализмом (например Пи-

[1] Сбор. соч., изд. I, том VIII, стр. 34.

сарев), или вовсе связывали свою судьбу с феодально-крепостнической реакцией (Достоевский).

Наиболее объективные, прогрессивно-исторические оценки творчества Н. Успенского, дали лишь те из них, кто выражал интересы крестьянской демократии. Н. Чернышевский, отчасти и Ткачев, — каждый по-разному, но в основном дали наиболее объективные для своего времени освещения исторической действительности в связи с творчеством этого писателя.

Однако было бы близорукостью не видеть разницы между позицией Чернышевского и Ткачева. Чернышевский положительно, а Ткачев отрицательно отнесся к творчеству Н. Успенского. Ткачев был представителем мелкой городской буржуазии, Чернышевский же был непосредственным идеологом и вождем революционного авангарда крестьянской демократии, стремящейся к революционному уничтожению феодально-крепостнического строя; Чернышевский воплощал в себе «мужицкий демократизм» (Ленин). Отсюда проистекало и другое, что Чернышевский стоял за массовую революцию, а Ткачев строил свои революционные планы в расчете на революционные круги разночинцев. А почему же не на крестьянство возлагал Ткачев свои расчеты, как делал Чернышевский? Представитель мелкой городской буржуазии в крестьянстве видел пассивную инертную массу и был убежден, что только под воздействием революционного меньшинства эта масса могла стать революционной силой. Но Ткачев выражал интересы народа, и именно крестьянская демократия, поскольку на нее в «конечном счете», как говорят теперь, опирался Ткачев, обеспечивала этому идеологу мелкой городской буржуазии революционный подъем и объективно-историческую оценку действительности.

К эпохе Чернышевского и Добролюбова относил Ленин зарождение пролетарско-крестьянской линии революции в России. Но при всех своих слабых сторонах и якобинство Ткачева было в ту эпоху революционным настроением.

Якобинство было присуще представителю мелкой городской буржуазии, поскольку он ориентировался на класс революционной крестьянской демократии. Напротив, когда представитель мелкой городской буржуазии отходил от демократии, он объективно защищал путь реформ, становился сторонником «прусского» пути капитализма, сближался с либерализмом, с буржуазией. Яркий пример этому выступление Писарева, который был представителем мелкой городской буржуазии, колебавшейся между буржуазией и крестьянством, и его линия общественно-политических выступлений представляла собой кривую.

Сторонники реформизма стремились заглушить всякий намек на революционность, на протест, какой могли подать очер-

ки Н. Успенского, и сводили их смысл к реформам семьи или ценили их как акварельные зарисовки мягкого бытовизма.

Но представители мелкой городской буржуазии подпадали под влияние феодально-крепостнической идеологии, и тогда они становились реакционными демократами, выступали против революционных демократов, революционных разночинцев. Таков Достоевский в своей критике, направленной против Н. Успенского и его истолкователя, революционного демократа Н. Чернышевского.

Но вместе с тем большая часть критиков и огромная масса стоящих за ними разночинцев были связаны с городской мелкой буржуазией. И эта социальная среда в свою очередь накладывала свои черты на идеологию своих предствителей. Упускать из виду эту сторону, например, при анализе тактики и социальной программы Ткачева, позиции Писарева, также нельзя, чтобы не совершить механистической ошибки в понимании явлений. При решении этого вопроса нельзя упускать из внимания то, что писал Ленин о классе мелкой буржуазии: «Он является прогрессивным, поскольку выставляет общедемократические требования, т. е. борется против каких бы то ни было остатков средневековой эпохи и крепостничества; он является реакционным, поскольку борется за сохранение своего положения, как мелкой буржуазии, стараясь задержать, повернуть назад общее развитие страны в буржуазном направлении... Эти две стороны мелкой буржуазной программы следует строго различать и, отрицая какой бы то ни было социалистический характер этих теорий, борясь против их реакционных сторон, не следует забывать об их демократической части»[1].

X

Все изложенное подводит нас к важному в данный момент вопросу о понимании социальной сущности разночинства. Термин «разночинец» до крайности широк, неопределенен. Употребление его в общем смысле становится сугубо неверным, ведет к путанице. Очевидно, собранный здесь материал уполномочивает расчленить лагерь разночинцев на несколько групп: есть революционные разночинцы (Чернышевский), есть радикальные разночинцы (Писарев), есть реакционные разночинцы (Достоевский), и есть группа разночинцев, перерабатываемая революционным авангардом крестьянской демократии (Ап. Головачев). Все эти расслоения закономерны и обусловлены взаимоотношением этих групп в шестидесятые годы к крестьянской демократии. При наличии связи с последней мы имеем народничество. «Крестьян-

[1] Соч.. 2-е изд., том I, стр. 184.

ская демократия, — говорит Ленин, — вот единственное реальное содержание и общественное значение народничества»[1].

Ленин подчеркивал также, что сущность народничества состоит «в представительстве интересов производителей с точки зрения мелкого производителя, мелкого буржуа»[2].

Ставя так вопрос о народниках-разночинцах, как об образованных (интеллигентных) представителях крестьянской демократии, Ленин выступал против теории, видевшей в народничестве групповую идеологию самой разночинной интеллигенции. По этому вопросу Ленин полемизировал с меньшевиком А. Н. Потресовым, взгляд которого на народничество был усвоен позднее многими (Плехановым и др.).

Потресов критиковал Ленина в своей статье «О кружковом марксизме и об интеллигентской социал-демократии» (1905 г., см. в сб. «Этюды о русской интеллигенции» СПБ, 1906 г.) и дал свое понимание интеллигенции, как особого общественного класса, как самостоятельной революционно-интеллигентской среды, отстаивал «интеллигентский революционизм». Сущность возражения Потресова Ленину дана им в той же статье. Здесь читаем: «Иностранный читатель, который имел бы несчастье ознакомляться с Россией по Тулину, был бы, конечно, в праве сказать: очевидно, что русское общественное течение, которое известно под именем народничества и о плеяде идеологов которого я издавна так много наслышан, есть течение в среде русского крестьянства, кустарей и ремесленников, и было бы крайне важно узнать от г. Тулина что-нибудь более определенное, более конкретное об этом интересном явлении в жизни «мелкого производителя» в России.

Но мы-то, русские люди, — продолжает А. Н. Потресов (Старовер), — мы знаем хорошо, что народническое течение и движение были характернейшим продуктом той «национальной» категории революционной России, которая называется интеллигенцией и которая представляет из себя пестрый конгломерат буржуазных и отщепенских деклассированных элементов. Неприятный «пассаж», приключившийся с Тулиным, приключился с ним потому, что он обошел как раз эту категорию и вместо того, чтобы дать себе труд проанализировать среду, которая была несомненной носительницей настроений и взглядов народничества, вместо того, чтобы на ней показать, почему она должна была — при данной общественной конъюнктуре — проявить народническую мелкобуржуазность, он выбросил ее просто за борт своего рассмотрения, чтобы обратиться — якобы по Марксу, — к тому «мелкому производителю», который в этом случае

[1] Соч., 2-е. изд., том XVI, стр. 283.

[2] «Экономическое содержание народничества». Соч., том I, стр. 271.

был лишь тем общим, мелкобуржуазным жизненным фоном, на котором и разыгрывалась эволюция народнической интеллигенции» («Этюды», стр. 262—263). Плеханов в своих статьях о народниках держался этой же точки зрения на народничество, как на идеологию и движение разночинной интеллигенции, и особенности этой литературы он объяснял тем, что «в качестве художника наш разночинец должен сохранить те же характерные черты, которые вообще свойственны ему как разночинцу»[1]. Таким образом, у Плеханова полное единство с Потресовым в этом пункте понимания социальной сущности народничества и в объяснении отсюда особенностей народнической литературы особенностями исторического и общественного положения разночинного интеллигента-писателя.

Напомним, как резко протестовал Ленин против квалификации старого революционного народничества как «интеллигентского настроения», что сделали «Вехи». Возражая вехистам, Ленин в 1909 году писал: «Письмо Белинского к Гоголю, — вещают «Вехи», — есть «пламенное и классическое выражение интеллигентского настроения» (стр. 56). «История нашей публицистики, начиная после Белинского, в смысле жизненного разумения — сплошной кошмар» (стр. 82).

Так, так. Настроение крепостных крестьян против крепостного права, очевидно, есть «интеллигентское» настроение. История протеста и борьбы самых широких масс населения с 1861 по 1905 год, против остатков крепостничества во всем строе русской жизни есть, очевидно, «сплошной кошмар». Или, может быть, по мнению наших умных и образованных авторов, настроение Белинского в письме к Гоголю не зависело от настроения крепостных крестьян. История нашей публицистики не зависела от возмущения народных масс остатками крепостничего гнета?»[2].

Игнорирование в народничестве как основы его крестьянской демократии вело меньшевизм и к другой ошибке, с которой также боролся Ленин, — это неуменье меньшевиков подметить революционно-демократическую сущность народничества и выпячивание народнического псевдо-социализма. В письме к И. И. Степанову-Скворцову от 16 дек. 1909 года Ленин раскрыл эту порочную сторону исторической концепции меньшевизма: «Особенность русского оппортунизма в марксизме, т. е. меньшевизма в наше время, состоит в том, что он связан с доктринерским упрощением, опошлением, извращением буквы марксизма, изменой духу его (так было и с рабочедельством, и со струвизмом). Воюя с народничеством, как с неверной доктриной социализма, меньшевики докринерски просмотрели, прозевали исто-

[1] Соч., том X, стр. 10.
[2] Соч., изд. 2-е, том XIV, стр. 284.

рически реальное и прогрессивное историческое содержание народничества, как теории массовой мелкобуржуазной борьбы капитализма демократического против капитализма либерально-помещичьего, капитализма «американского» против капитализма «прусского»[1]. Отсюда их чудовищная, идиотская, ренегатская идея (насквозь пропитавшая и «Общественное движение»), что крестьянское движение реакционно»[1].

Итак, Потресов в борьбе с Лениным (Тулиным) развивал понятие народничества как самостоятельной классовой прослойки разночинной интеллигенции. Ленин видел в народниках представителей мелкой городской буржуазии, являвшихся идеологами мелких производителей деревни, крестьянской демократии. Потресовская точка зрения как раз отрицала это. Разумеется, исследователю этого явления нельзя игнорировать интеллигентский характер, состав этого движения. Борясь с Потресовым, нельзя схематизировать, упрощать Ленина. Но нельзя и не помнить того, что Ленин именно боролся против интеллигентской революционности, как таковой, отрицал интеллигентское настроение, из которого выводилось все народничество «вехистами» и Потресовым, — и утверждал как основу народничества настроние крестьянских масс, — утверждал, как ключ для понимания народнических деятелей-идеологов мелкой буржуазии, крестьянскую основу.

Данный экскурс показывает, что русская критика дает не мало материалов для изучения расстановки сил в классовой борьбе капитализма демократического против либерально-помещичьего в шестидесятые, семидесятые и последующие годы, для изучения роли в этой борьбе мелкой городской буржуазии и для раскрытия картины развития русской критики, как процесса классового самосознания социальных групп в связи с осознанием творчества писателей-современников. Но это изучение будет плодотворным на основе ленинской концепции исторического процесса и в борьбе с неверной ошибочной концепцией меньшевиствующего идеализма.

---

[1] Соч., изд. 2-е, том XIIV, стр. 219.

ДИСКУССИЯ О ФОЛЬКЛОРЕ И ФОЛЬКЛОРИСТИКЕ В РЕКОНСТРУКТИВНЫЙ ПЕРИОД [1]

Тов. Салтыков. Я, представитель Башкирии, работаю в Уфе в Научно-исследовательском институте и Педфаке. В этих двух учреждениях организована работа по фольклору. Сам я музыкант-искусствовед и являюсь руководителем искусствоведческой секции.

Наша работа идет по линии национальной. В первую очередь мы изучаем башкирские народы, затем татар и чувашей и в последнюю очередь великоруссов. Конгломерат народностей Башкирии значителен — 18 народов.

То, что говорил т. Соколов о тесной связи фольклористов с музыковедами, я целиком поддерживаю, связь должна быть самая тесная. По существу нельзя отрывать изучение песен фольклористом и музыкантом, так как слово и напев неразрывно связаны. Содержание песни влияет на мелодическую форму песни. Поэтому, когда музыканты-этнографы ведут работу, увлекаясь одной музыкальной стороной, записывая лишь одну мелодию, то такая работа гроша ломаного не стоит: она не имеет научного значения. Вместе с тем, когда фольклористы-лингвисты занимаются записью одного текста без мелодии, то эта работа на 50% обесценивается. Изучение песни должно вестись с точки зрения текста и мелодии.

О национальном фольклоре докладчик ни слова не сказал. (Ю. М. Соколов: Это есть в тезисах). Я считаю, что в период социалистической реконструкции братские народности и нацменьшинства имеют колоссальную роль, и поэтому в научном центре, каким по существу является ГАИС, нужно обратить сугубое внимание на национальный фольклор.

Изучение национального фольклора должно осуществляться не только наскоками, не путем полевых работ — экспедиций в летний период. Плохо то, что в ГАИСе подавляющее большинство русских работников незнакомо с национальными языками,

---

[1] Продолжение см. Дискуссия о значении фольклора и фольклористики в реконструктивный период. Кн. V. 1931 г.

и поэтому полевые работы соответствующей продуктивности дать не могут. Кабинету необходимо связаться с периферией, тем более, что за последние два-три года почти в каждой республике имеются соответствующие учреждения с национальными кадрами, которые ведут работу кустарно и открывают Америки, открытые 50—70 лет тому назад. Так как нет нормальной связи и инструктажа, они вынуждены вариться в собственном соку.

Пожелание Н. М. Маторина об издании тематических сборников своевременно. Нельзя замыкаться в одну только Великороссию и Украину. Надо объединить, в сборниках подобрав в классовом разрезе фольклорный материал 10—15 народностей нашего Союза, — такой сборник будет интересен, нужен и убедителен.

К. Квитко. Так же, как и т. Салтыков, я человек приезжий, работник Украинской академии наук. Но сюда я попал случайно и могу говорить только от себя лично о докладе Ю. М. Соколова.

Я начну с того, с чего начал т. Соколов, с выражения печали по поводу того, что на нашем диспуте мало участников. В большом центре люди перегружены докладами научных учреждений.

Термин «фольклор» в высшей степени не популярен и для русских и для украинцев. Я знаю, почему этот термин употребляет т. Соколов, эти соображения изложены в его статье в журнале «Художественный фольклор». В украинской печати я отвечал на это так: конечно, интернационализация терминов нужна, несмотря на то, что некоторые интернациональные слова трудно произносимы для русских и украинцев.

Но это не беда, и неправильно произнесенное слово ближе к интернационализации. Исходя из того, что мы отбрасываем термин «народная словесность» и «народная музыка», мы определяем фольклор с точки зрения классовой, и американские англичане должны будут отбросить слово «фольклор» и заменить его русским словом по тем же самым причинам, по которым мы отбрасываем русское слово. А немцам приходится брать французское слово и т. д. Затем неудобство в том, что едва ли можно говорить вместо «народная музыка» — музыкальный фольклор, но не «народная песня», противополагая ее песне, сочиненной композитором.

Практика показывает, что слово «фольклор» трудно прививается в массах, и это явно не в интересах нашей дисциплины. Если в РСФСР терминологический вопрос разрешен окончательно, то и украинцы присоединяются к этому решению, так как надо достигнуть единой терминологии, хотя бы в пределах Союза.

В докладе затронут вопрос, существует ли в Киеве аспирантура по фольклору. Не существует, но некоторые аспиранты

прошли уже аспирантский курс по истории культуры и по кабинету примитивной культуры при УАН, причем фольклор входил в число требований при поступлении.

На Украине изучены блатные песни с музыкальной стороны в 1925 году кабинетом музыкальной этнографии, которым я заведывал. Материала много, он печатается. Исследованы мелодии рабочих и горнорабочих Донбасса, в 1930 году тем же кабинетом была снаряжена туда экскурсия. Собраны песни, относящиеся к производству, отражающие процессы производства и несчастные случаи на шахтах; есть песни, отражающие быт. В этом году проводится вторая экскурсия в Донбасс, в Баку в связи с курсами сравнительного музыковедения, которые стоят в программе. Я предполагаю, с одной стороны, исследовать творчество рабочих, как таковое, и затем воспользоваться стечением в Баку рабочих почти всех национальностей, существующих в Советском союзе, чтобы собрать материал без слишком продолжительных и дорого стоящих поездок по Союзу. До сих пор в УАН существовал только Кабинет музыкальной этнографии, исследовательская деятельность его ограничивалась музыкой Украины. В нынешнем году эта работа расширена, я лично заведую Кабинетом музыкальной этнографии, и мне поручено заведывать Кабинетом сравнительного музыкознания, а та лаборатория осталась на попечение моего ученика, который достаточно окреп. Введен сотрудник по изучению современного быта и художественной пропаганды, еще один сотрудник введен в отдел массовых искусств. Он музыкант и поставил своей задачей изучение музыкальной самодеятельности в общесоюзном масштабе, так как ему не было известно, чтобы в других районах этот предмет был включен в план исследовательских учреждений.

Таким образом музыковеды УАН разбросаны по разным кафедрам, но при нашей гибкой структуре они составляют языковедческий сектор. Что касается музыковедения, то мы решили действовать нераздельно с фольклористами-словесниками, так как музыкальная самодеятельность не есть что-то отличное от музыкально-этнографической.

Я всецело приветствую то, что говорил т. Соколов о социологическом исследовании фольклора и о помощи специалистов, работающих в тех областях, которые раньше стали предметом марксистского исследования, и специалистов тех областей, которые имеют более прочные результаты.

На музыкальной конференции указывалось, что вышли большие по размерам и дорого стоящие труды по туркменской народной музыке, но без социологической обработки. Думаю, что ставить музыкантам в вину эти недостатки не следует, потому что музыкальная запись и музыкальное исследование — дело в высшей степени кропотливое, требующее большой затраты вре-

мени, и мы не скоро достигнем существенных успехов в марксистском освещении этих материалов. Не музыканты, а правительства республик, тратя большие деньги на издание этих музыкальных трудов, должны были поставить своей ударной задачей помочь первым в обработке материалов.

Использовать древние мелодии для новых целей, на мой взгляд, нельзя. Например, Молдаванская республика создала национальный репертуар. Музыканты пришли в наши кабинеты, просмотрели наши записи и послали в Молдавию эти произведения. Но это нисколько не удовлетворило Молдавию. Ясно, что для успеха дела надо поехать туда и окунуться в народную стихию. Композитор должен изучить и усвоить народную музыку, так, как усваивали наследие западно-буржуазной музыки, не подражая механически, а перерабатывая народные мелодии.

Я хотел бы возбудить принципиальный вопрос о двойственности подчинения работников по музыкальной этнографии — сектору науки и сектору искусства. Я приехал на музыкальную конференцию по требованию сектора искусства, которому Академия не подчинена. Сектору искусств предъявляются такие требования практического характера, а установка моей работы больше соответствует планам работ Комиссии по изучению народов. Это следует обсудить, так как вызывает практические неудобства.

Тов. Тихонович. Туркменская литература в основном является литературой устной, а не письменной, как было показано Самойловичем, если не говорить о Тиготайском периоде туркменской литературы.

Туркменская литература — это сказки, исторические и героические повести, лирические песни, загадки, пословицы и т. д. Литература богатая, но литературоведение стоит на низкой ступени, это объясняется ограниченным количеством работников.

В Туркменкульте имеется две секции: языковедения и литературоведения, имеющие отношение к фольклору. К ним присоединяется и секция этнографов и искусствоведов, потому что литературоведение выведено из искусствоведения. Наша связь выражается в общем плане отдельных секций кабинетов Туркменкульта. Имеются работники по языковедению, литературоведению, имеется по одному аспиранту.

В нашем литературоведении мы имеем работу академика Самойловича, на 1000 метров отдаленную от марксистских методов изучения. Эта работа не марксистская. Имеется библиографическая работа Кульмах, и это все. Больше того, мы не имеем ни одного критического издания о литературных памятниках ни по фольклору, ни по песням.

Фольклор Туркмении интересен в плане, о котором говорил т. Соколов. Хотя я не специалист по фольклору, но мной до 200 туркменских пословиц было переведено на русский язык, и

это единственное литературное произведение, напечатанное на русском языке из числа имеющих большую художественную ценность. Ни один литературовед не удосужился заняться его анализом. У нас же если и читали, то не прорабатывали.

Мне удалось выяснить, что на первый взгляд такое монолитное целое, эти пословицы оказываются весьма легко классово расслояемы и четко выражают переходы от родового строя к первым зачаткам капиталистических форм, что четко отражается на идеологии.

Можно привести пример из лирики. Поцелуевский собрал 200 женских народных песен, которые предполагалось издать на туркменском языке арабским и латинским шрифтом и на русском. Рукопись блуждала между тремя учреждениями: Туркменгизом, Туркменкультом и ГИЗом, долго не издавалась, так как не была идеологически выдержана: это была продукция туркменской середнячки, с некоторым уклоном к байству, как мне удалось выяснить.

За отсутствием автора, могущего написать предисловие, она ждала лучших условий. В этом материале имеется определенная классовая установка, излагается жизнь забитой туркменской декханки-середнячки. Но это была продукция дореволюционного времени, и по своему тяготению устремлявшаяся к байству. Имеются песни на революционные темы. Но все это ждет своего исследователя; все это подтверждает мысль, высказанную докладчиком.

Надо отметить, что туркменские песни, сказки и т. п. таят в себе огромные художественные возможности, которые при не механическом, а органическом реконструировании тематики и идеологии могли бы иметь большое значение даже в плане политпросветработы. Но эта работа ждет еще и своего исследователя и является задачей будущего.

Из этого сообщения ясно следует, что необходимо ГАИСу опираться на горы имеющегося материала и вместе с Туркменкультом заняться вопросом о возможности их реконструкции в целях культурной революции.

Председатель. Я очень рад, что мы имели здесь представителей национальных республик, что мы заслушали их сообщения о положении работ по фольклору. Мы будем считать это первым шагом по сближению ГАИСа в его фольклорной работе с другими родственными учреждениями в республиках СССР.

О формах работы и связи мы договоримся на производственном совещании.

М. Н. Антошина констатирует, что на практике установилась традиция полнейшей разобщенности в работе двух родственных специальностей — фольклора и музыкальной этнографии,

что не может не обесценивать целый ряд выводов, сделанных в этих областях.

Несмотря на искусственную оторванность одной отрасли от другой, судьба их развития протекала приблизительно одинаково. Ю. М. Соколов указывал на то, что в изучении фольклора еще не изжиты народнические, романтические и другие тенденции. То же мы наблюдаем и в области музыкальной этнографии. В этой еще очень молодой научной дисциплине, если она вообще может считаться научной дисциплиной, только начинают изживаться никуда негодные понятия. Таково понятие «народной» песни и музыки. Исследовательская работа на базе марксистско-ленинской методологии как в области фольклора, так и музыки устранит ложные пути. Имея объектом изучения почти всегда одни и те же явления, но изучая их с разных сторон, фольклор и музыкальная этнография должны объединиться в работе методологической, решительно отказавшись от старых установок, перестроить работу и сдвинуть ее с мертвой точки бесцельного и вредного изучения «старины».

Одной из вредных старых установок следует считать и формалистический отрыв от мелодии в изучении песни. В реальной жизни песня никогда не говорится, а поется — это знают все. Однако изучаются слова в песне сами по себе, вне их мелодического оформления и осмысливания; законы музыкального построения выводятся вне текстового содержания, вне соотношения со словом. Не приходится удивляться, что изучение такого сложного и нужного вопроса, как ритм, не давало ничего, кроме голых, мертвых формальных схем. Действительно, что может дать в понимании русской песни формалистическое утверждение, что ритм русской песни асимметричен?

Перечисляя грехи старой школы фольклористов, докладчик мало остановился на основном грехе не-марксистской науки: на разрыве теории и практики. Вопрос переключения всей научной работы на практические рельсы должен быть основным в работе фольклориста.

Здесь предлагалось создать учебник по фольклору для школ и через него продвинуть вопрос изучения фольклора в школе. Другой товарищ говорил о создании новой фольклорной действительности, о внедрении искусственного фольклора в быт. Это последнее является нашей актуальнейшей задачей и для словесника и для музыканта. Однако не учебником можно разрешать этот вопрос: школьник, развитие которого строится на изучении своего района, города, края, должен собирать сам фольклорный материал. На его изучении, на его критике может быть построена значительная часть работы по родному языку. Анализ и критика тематики вооружают школьника для борьбы с старым бытом. Анализ же фольклорных мелодий даст огромный живой мате-

риал для музыкального руководителя, который на нем вскроет халтуру и мещанскую чувствительность, укажет живые, организующие нового человека, мелодии и вооружит ученика здоровой, пролетарской и колхозной песней. Фольклор должен итти не через учебник в школу, а его изучение должно стать методом работы в школе.

И. Н. Кубиков. После выступлений ряда товарищей много говорить не приходится. Я только хотел бы сделать несколько замечаний исторического характера и остановиться на вопросе о взаимоотношениях между литературой и устным творчеством.

В порядке некоторых сомнений я хочу высказать одну существенную вещь. В докладе Ю. М. Соколова все время переплетались два момента в классификации устного творчества: одно дело, когда речь идет о песне, как о коллективном достоянии творчества, другое — когда говорят об устном индивидуальном сказе. Вот, например, материал, который собрал т. Миронов, относится к последней категории.

Я не специалист, но мне важно разобраться в этом вопросе. Затем меня интересует в докладе момент исторического порядка. Когда докладчик говорил о классовом подходе при изучении фольклора и ставил ряд важных вопросов, то среди этих вопросов мало выясненный, насколько мне известно, и тот, который поднимал немецкий ученый Науман. Влияние песенного творчества классовых верхов (например дворянства) действительно отражается потом на песенном материале городского мещанства, куда проникают элементы иногда первоначально аристократического происхождения. Но это и должно привести нас к изучению устного песенного материала слоев мещанской городской бедноты в широком смысле этого слова — слоев, отличных от кристаллизованного пролетариата. Эта область старыми специалистами, как совершенно правильно указывал т. Соболев, является упущенной. При изучении этого мещанского фольклора мы получим ряд интересных выводов для нашей практической работы. Прежде всего этот мещанский фольклор был активным — он с помощью накопленного материала широко воздействовал на массы. Это воздействие шло по двум направлениям. Во-первых, различные издатели лубочных книжек — Манухин, Губонин, Сытин и другие — выпускали в громадном количестве песенники, наполненные разнообразным материалом. Уже при беглом обзоре материала этих песенников можно видеть, что здесь была установка на песни мещанско-городские и песни солдатские. Выполняя социальный и вместе рыночный заказ в самом упрощенном смысле этого слова, эти песни обслуживали потребителей обоих указанных категорий. Затем был второй факт — исторически бытовой и мало изученный: с начала восьмидесятых годов, а может и раньше, на открытых сценах и садах, во

время так называемых «народных гуляний» в Петербурге того времени, Москве и крупных промышленных городах, выступали «народные песенники». Некоторые руководители этих хоров — Молчанов, Гр. Соколов, Полтавцев и другие — пользовались огромной популярностью среди населения городских низов и пролетариата прошлого: на этих народных гуляньях иногда бывало народу до 15 тысяч человек. «Народные песенники» пели как ложно-народные песни, проникшие от верхов дворянства в эпоху влияния сентиментализма («Стонет сизый голубочек» и другие), а также песни солдатские (вроде «Ездил русский белый царь» и другие). Ю. М. Соколов вполне правильно указывал в своем докладе, что солдатская песня подвергалась агитационному правительственному воздействию — это и можно проследить по содержанию песен данного характера.

Переходя к рубежу, который отделяет крестьянский фольклор от рабочего, я должен напомнить, что против рабочих частушек выступали не только представители барской эстетики, но и такие революционно-народнические писатели-разночинцы, как Гл. Успенский. Это также требует объяснения.

Затем необходимо иметь в виду, что при изучении устной рабочей песни есть одна методологическая опасность. Пролетариат все время находился в процессе своего становления, превращаясь из класса в себе в класс для себя. Но это и значит, что он не отделялся китайской стеной от бедного городского мещанства в расплывчатом смысле этого слова. Таким образом в рабочий песенный репертуар проникали те же элементы книжного характера как эпохи дворянского сентиментализма, так и творчество более поздних поэтов, от Козлова и Лермонтова до Полонского, и популярных не только в мещанской, но и в рабочей среде стихов Сурикова («Доля бедняка» и др.). Вот те дополнительные задачи, которые выдвигаются существом дела.

Наконец имеет значение и важный вопрос, поднятый здесь о влиянии устного творчества на литературу. В этой области есть уже целый ряд работ, так например статья Н. М. Мендельсона о влиянии старого фольклора на Лермонтова, или достаточно исследованный факт использования Некрасовым устного народного песенного творчества. Установлено влияние песенного городского творчества на поэму Блока «Двенадцать» и т. д. Можно установить влияние фольклора на поэзию пролетарскую, не говоря уже о крестьянских поэтах. Я недавно наткнулся на интересный факт. Изучая пролетарскую поэзию нелегальной печати девяностых годов, я нашел стихотворение, пародирующее в некоторой мере песенно-народное причитание, вроде того, какое мы имеем в одном стихотворении Есенина («Клен ты мой опавший»). Повидимому, и ранний пролетарский поэт в этом стихотворении и более поздний прославленный поэт деревенской экзотики Есенин

подчинялись влиянию одного и того же источника, хотя социальное содержание их творчества совершенно различно.

Д. Л. Сапер сделал сообщение о высказываниях Маркса и Энгельса о фольклоре, каковое будет напечатано особо.

Н. Н. Захаров-Менский указал на крайне ограниченный доступ фольклора сейчас в школьном преподавании, полное игнорирование сил учащихся в деле собирания фольклора и на интенсивное использование фольклора (сюжетов, мотивов) в прошлом представителями кулацкой поэзии (Клычков, Клюев, Орешин), у которых трактовка тем фольклора велась с националистической точки зрения. В заключение он поставил вопрос о массовом издании фольклорного материала и о собирании городского фольклора. В целях агитации он предлагает фольклористам отправиться с докладом на фабрики, заводы.

Ю. А. Самарин указал, что в развернувшихся прениях недостаточно говорилось о границах фольклора. Необходимость четкого определения, что такое фольклор, особенно важна теперь, когда мы ввели в практику нашей собирательской работы запись устных сказов о гражданской войне, о революционных событиях и классовой борьбе.

— Я ставлю вопрос о том, в какой мере все это является фольклором. В книге «Дело чести» т. Мирер является первым энтузиастом-собирателем устных рассказов об ударничестве и соцсоревновании, — он выдвинул их как особый жанр в фольклоре. Но мне кажется, что нельзя говорить о том, что то, что записано в первую очередь т. Мирером и затем по его почину начало входить в практику всех фольклористов, является всегда фольклором. Большинство из этих рассказов не бытует и рассказывается, как я сам из практики знаю, рассказчиком собирателю впервые.

Я не говорю о том, что записи устных рассказов не нужны, их нужно делать, но затем в порядке изучения нужно определить, какой процент из всего этого будет относиться к фольклору; остальное же будет относиться к другой области, например, к публицистике, и тогда такой материал нельзя будет считать фольклором. В настоящее время в колхозах и на фабриках, через стенгазеты и живые газеты фольклор переплетается с письменной литературой. Необходимо эти пути взаимного проникновения изучать.

Наконец последнее. Мы говорим о популяризации нашей работы, о вынесении нашей работы на фабрики и заводы. Если мы будем это делать так, как сейчас, в виде выездов, — этого недостаточно. В таких случаях мы даем надерганный материал. Необходимо поставить популяризационную работу на основе постоянного систематического изучения фольклорных процессов на заводе и в колхозе и, давая показ фольклора, выявлять этим определенные этапы проделанной исследовательской работы.

Тов. Чичеров. Здесь уже достаточно говорилось о том, что перед нами стоит очередная задача создания марксистской фольклористики. Историко-сравнительная школа пользовалась старой допотопной схемой истории, которая сейчас уже совершенно отброшена, и эта историческая схема для нас непригодна. Совершенно правильно был поставлен вопрос о том, что мы должны проблему фольклористики связать с проблемой общественно-экономических формаций. Тогда иначе решаются некоторые проблемы, например вопрос о напластывании. Если мы берем напластывание как основной принцип изучения фольклора, мы снимаем эти пласты, и они ничем не связаны друг с другом. Это абсолютно неправильная установка. Эта установка исходит из того старого, что осталось сейчас в фольклористике. Эту установку мы должны отбросить. Безусловно, для того, чтобы создать новую марксистскую фольклористику, нужно пойти совершенно новыми путями и в первую очередь нужно прислушаться к тому, что говорили основоположники марксизма. Если мы обратимся к ним, то придется прямо сказать, что основные высказывания марксистов о фольклоре большинству из нас не знакомы. Перестройку фольклористики нужно обеспечить крепким руководством со стороны марксистской методологии.

Ю. М. Соколов. (Заключительное слово.)—Товарищи! Приступая к своему заключительному слову, я должен с удовлетворением заявить, что поставленная при организации дискуссии цель может считаться достигнутой. Оживленные прения широко развернули постановку методологических и общественных проблем фольклористики и также вызвали к жизни критику, нужда в которой так остро ощущается каждым активно работающим фольклористом. Можно надеяться, что с этого времени фольклористика привлечет к себе большее внимание теоретической научной мысли и общественности.

Не могу не отметить как весьма отрадный факт участие в нашей беседе товарищей, ведущих свою исследовательскую работу в национальных республиках. Они своими сообщениями о фольклористической работе на Украине, в Туркменистане, в Башкирии и рядом пожеланий подчеркнули как одну из существеннейших задач — необходимость теоретического и методологического единства в изучении фольклора разных национальностей нашего Союза и большего внимания к проблемем национального фольклора в центральных научных учреждениях, в частности в нашем Фольклорном кабинете ГАИСа. Я с этими положениями вполне согласен, и только то внешнее обстоятельство, что я исчерпал свое время докладчика, когда по плану должен был говорить об этом, лишало меня возможности подробнее на этом вопросе остановиться. Тов. Монько, Н. М. Маторин и некоторые другие товарищи восполнили указанный пробел. Я лично давно занимаюсь

сравнительным изучением фольклора национальностей Союза, в частности вот уже несколько лет сряду руковожу семинарием для аспирантов по сравнительному фольклору в Научно-исследовательском институте народов Советского Востока при ЦИКе, а также в Фольклорном кабинете ГАИСа, мне то-и-дело приходится держать связь с фольклористами из национальных республик. Но я согласен, что эту связь необходимо сделать более прочной и постоянной. Фольклор для многих национальностей имеет огромное значение в деле выработки национальной литературы и национального литературного языка. Некоторые явления в жизни современного фольклора в тех или других национальных республиках представляют исключительный научный и общественный интерес, как, например, колоссальные по размерам героические поэмы о Ленине, Октябрьской революции и гражданской войне, записанные от узбекских «бакши», о которых нам этой зимою в заседании Фольклорного кабинета докладывал узбекский фольклорист т. Зарифов. Все выступавшие в дискуссии товарищи, даже один из самых суровых моих критиков П. М. Соболев, выразили полное согласие с теми тезисами моего доклада, которые я считаю основными, в которых я ставлю вопрос об активном вмешательстве в стихийный процесс устного творчества трудовых масс, о руководстве фольклором, о всестороннем использовании фольклора в целях социалистического строительства, о борьбе с вредными течениями и пережитками в фольклоре. Я согласен с Н. Ф. Бельчиковым, что лучше было бы, если бы эти вопросы во всей остроте были поставлены раньше, но, по-моему, лучше поздно, чем никогда, и хорошо то, что эти вопросы теперь поставлены и в необходимости постановки их мы оказались все солидарными. Правда, следовало бы подробнее развернуть картину того, как практически реализовать «вмешательство» в стихийный процесс фольклора, как наладить это руководство. Но это дело, я уверен, ближайшего будущего. Сейчас однако нужно было во всей остроте поставить самую проблему и наметить этим очередные задачи фольклора и фольклористики в реконструктивный период, подчеркнуть неразрывную связь и единство целей фольклора и фольклористики с целями пролетарской литературы и марксистско-ленинского литературоведения.

Правильно фиксировал внимание присутствующих на вопросах, изложенных мною в 7 тезисе, о рациональном использовании современного и старого фольклора в политехнической школе И. М. Монько. Необходимо положить конец игнорированию школой чрезвычайно актуального и в политико-воспитательном отношении весьма благодарного материала. Совершенно прав Н. М. Маторин, предлагавший в целях научно-исследовательских и популяризационных издание серии тематических сборников по фольклору разных национальностей СССР. Правильно подчерк-

нул он значение фольклорных материалов в деле антирелигиозной пропаганды. Справедливо жаловался Н. Н. Захаров-Менский на халтурную продукцию песенников, дополняя фактическими указаниями соответствующий тезис моего доклада. Очень важно было слышать заявление музыкантов-этнографов М. Н. Антошиной и т. Салтыкова в пользу выдвигавшегося мною положения о необходимости самой тесной методологической и теоретической увязки работ фольклористов-словесников и музыкантов-этнографов. Согласен я с К. В. Квиткой, что в интересах большей понятности для масс условный научный термин, служащий для обозначения нашей дисциплины — «фольклор», может быть, следовало бы заменить более простым — «устная литература», «устная поэзия» или еще как-нибудь в этом роде, однако в последнее время интернациональный термин «фольклор» сыграл положительную роль в вытравливании сентиментально-народнических и романтических представлений о «народной словесности». Вполне понимаю я предложение Ю. А. Самарина не только о пересмотре терминологической проблемы, но и о пересмотре самого понятия, вкладываемого в слово «фольклор», для определения тех границ, которые отделяют фольклор от всякого устного высказывания. Это предложение т. Самарина является отголоском тех горячих споров, которые не раз возникали в нашем фольклорном кабинете в связи с чрезвычайно интересными современными «сказами» о гражданской войне, революции, социалистическом строительстве, которые в огромном количестве были записаны тт. Мирером, Липец, Чичеровым и др. Но я полагаю, что в настоящее время наиболее актуальными задачами являются не разрешение терминологических проблем и вопросов о формальном разграничении научных дисциплин, а вопросы о самом живом процессе, наблюдаемом в устном творчестве, и об использовании этого процесса в интересах пролетариата и социалистического строительства. Перед нами еще огромное поле мало изученных сложных явлений, в частности вопрос о воздействии на пролетарское устное творчество устной и письменной продукции других социальных групп, о чем говорил в докладе и я и что дополнил рядом соображений и наблюдений И. Н. Кубиков.

Итак, товарищи, по данному ряду тезисов моего доклада я слышал много интересных подтверждений и дополнений, расширявших и углублявших мои положения. Это заставляет меня думать, что основная линия, по которой развертывался мой доклад, была правильной. Все мы согласны, что фольклористика есть неотделимая часть марксистско-ленинского литературоведения, а фольклор органическая часть всего художественного творчества пролетариата и других классов, что фольклористика должна разрабатываться теми же методами, что и литература, что пролетарский фольклор подлежит тому же идеологическому руководству

как и пролетарская литература, что перед нами огромное множество больших и малых научно-исследовательских, популяризационных и политических задач. В главном четко намечается линия нашей солидарной работы. Дискуссия эту солидарность выявила и подтвердила.

Но дискуссия вместе с тем явилась и ареной суровой и даже временами ожесточенной критики. К этой части дискуссии я теперь и перехожу.

Критика, выраженная главным образом в выступлениях двух товарищей — Н. Ф. Бельчикова и П. М. Соболева, была направлена не столько против тезисов моего настоящего доклада, с основными мыслями которого, как уже было указано, было высказано согласие моих оппонентов, а исходила из вопроса, подготовлены ли современные фольклористы к выполнению стоящих перед нами теоретических и практических задач, каким методологическим багажом мы, активно работающие фольклористы, владеем, есть ли какие-либо методологические достижения в советской фольклористике. Материалом для ответа себе на поставленные вопросы оба критика избрали книгу моего покойного брата Б. М. Соколова «Русский фольклор». Но нельзя не обратить внимания присутствующих, что оба критика почему-то остановились на разборе только первого выпуска этого курса, вышедшего еще в 1929 г. и механически перепечатанного вторым изданием вскоре после смерти брата в 1931 году, а не коснулись ни одним словом ни второго выпуска, изданного братом в 1930 г., ни третьего выпуска, написанного уже мною в текущем 1931 году. Таким образом критике подверглись не последние наши высказывания по вопросам фольклористики, а более ранние и к тому же высказывания, посвященные анализу наиболее старых, отмирающих жанров (былин и духовных стихов), а не жанров, еще живущих полною жизнью в наше время (сказок — вып. 2-й, пословиц, поговорок, загадок, лирических песен и драмы — вып. 3-й). Поминалась критиками и книжка «Поэзия деревни», написанная мною и братом еще в 1926 г. Базируясь на весьма ограниченном и частично устаревшем материале, оба критика выдвинули целый ряд обвинений. Не касаясь за недостатком времени более мелких, остановлюсь на тех, которые представляются мне самыми важными.

Главное обвинение, предъявляемое Б. М. Соколову и косвенно мне, заключается в будто бы некритическом отношении к исторической школе Всеволода Миллера, в сохранении всех ее основных методологических приемов, в прикрытии ее лишь как бы флером марксистских высказываний.

Отрицать связь многолетней научно-исследовательской работы моего покойного брата, в значительной мере посвященной изучению сложной исторической судьбе русского былевого эпоса, с исторической школой, было бы совершенно нелепо. Тот факт,

что Б. М. Соколов вышел из школы Миллера, достаточно хорошо всем известен. Но кто внимательно, а главное не предупрежденно следил за научным путем Б. М., особенно за революционные годы, тот видел, как последовательно и неуклонно расширял он круг своих научных интересов и как пересматривал и углублял он методологию своих работ. Продолжая разработку вопросов об истории русского эпоса, Б. М. вместе с тем отчетливо осознавал все больше и больше недостаточность и ошибочность школы Миллера. Особенно остро он ощущал недостаточность достижений исторической школы, когда вплотную подошел к вопросу о классовой природе былевого эпоса. Как бы ни были жестоки нападки выступавших критиков на 1-й выпуск «Русского фольклора», все же не могут они отрицать того несомненного факта, что во всей четкости классовая проблема в отношении русских былин была впервые поставлена моим братом. Что касается оценки им исторического метода Миллера, то никто не имеет права замалчивать следующих строк, напечатанных во 2-м выпуске «Русского фольклора»: «При всей важности сделанных исторической школой достижений и открытий, все же метод исторической школы не может нас удовлетворить в настоящее время. Представители исторической школы устанавливали связь фольклорного произведения с историческими фактами, но не могли дать отчетливого ответа на вопросы о классовой природе фольклорных явлений. Следовательно, достижения исторической школы могут служить лишь материалом для социологических изучений» (в. 2, стр. 110). Я признаю, что еще очень недостаточна работа современных фольклористов по изучению классовых основ фольклора, но Б. М. вне сомнения принадлежит большая заслуга в почине, что и отмечено было недавно в многочисленных откликах на смерть моего брата.

Вторым обвинением является указание тт. Бельчикова и Соболева на то, что Б. М. большое значение придает проблеме реконструкции, на основании записей XIX—XX веков, утраченных явлений старого фольклора. П. М. Соболев на поставленный мною ребром вопрос отрицает даже самую возможность такой проблемы. С таким агностицизмом и беспросветным скепсисом я согласиться никак не могу. Это — явный след тех утверждений, которые так еще недавно развивал в РАНИОНе В. Ф. Переверзев, а за ним вторили его ученики, а также П. М. Соболев. Никогда не смогу согласиться с утверждением, что сквозь записанные в новое время у крестьянских сказителей тексты нельзя научным анализом проникнуть в поэтическое творчество старых эпох и тех общественных классов, от которых крестьянство восприняло в классовой переработке поэтическое наследство. Аргументировать ссылкой на трудность этой проблемы и на противоречивость отдельных

исследователей друг другу методологически неправильно. Важна принципиальная важность проблемы. Фольклористика имеет все основания эту проблему ставить, как ставит ее языкознание (в настоящее время особенно теория Н. Я. Марра, придающая такое исключительное значение делу реконструкции, на основе современных языков, пройденных языковых стадий); то же мы имеем в этнологических науках, в этнографии и т. д.

Тесно связано с этим вопросом третье предъявляемое критиками работы Б. М. обвинение в наличии в методологической концепции Б. М. теории так называемых «напластований». Я согласен, что следовало бы вообще, во избежание недоразумений, исключить из научного обихода самый термин «напластование», как влекущий за собою представление о механических наслоениях, отлагающихся на устном произведении в течение многовековой его жизни. Но я категорически отрицаю, чтобы Б. М. так механистически представлял себе процесс постепенных изменений былины или какого-либо другого фольклорного памятника, что мыслил бы эти «напластования», по образному выражению т. Соболева, «чем-то в роде слоеного пирога». Неправильно думать вслед за Н. Ф. Бельчиковым, что Б. М., говоря о «напластованиях», рассматривал их как какой-то механический процесс, не помышляя при этом «ни о какой социально-идейной переработке», и недоучитывал художественную природу фольклорного произведения. Это обвинение столь чудовищно, что я в недоумении развожу руками. Все исследования Б. М. говорят сами за себя. Я позволю себе сейчас привести лишь одну цитату из того же I выпуска «Русского фольклора», который ведь был прочитан критиками: «Но эти «наслоения» далеко не похожи на наслоения геологических пластов, где один пласт довольно четко отделяется от другого: «наслоения» в фольклоре, как явление словесно-художественного порядка, носят часто глубокий внутренний характер: они видоизменяют собою самый художественный образ, входят внутрь композиции, переделывают на новый лад развитие действия, вносят много новых подробностей, вытесняют ранее бывшие и всем этим существенно переиначивают на новый лад саму идеологию произведения» (стр. 7). Товарищи, в критике нужно быть строгим к самому себе и к своим высказываниям.

Четвертое обвинение, выдвигавшееся главным образом Н. Ф. Бельчиковым, говорит о будто бы крайнем пристрастии Б. М. Соколова к проблеме творческой личности, при забвении будто бы опять классовых основ каждого сказителя, сказочника и певца.

Внимание к творческой личности так называемых «носителей фольклора» является одним из твердых правил современного фольклориста. Не даром в каждом научно-составленном сборнике

былин, сказок, песен мы всегда находим тщательно составленные сведения о жизни и творчестве сказочника или певца; материал в сборниках большею частью распределяется «по сказочникам» или «сказителями». Но сколько, сколько раз и Б. М. Соколовым и мною подчеркивалось, что личность певца или рассказчика не имеет для нас самодовлеющего значения, что изучение нами индивидуального репертуара служит лишь средством к более отчетливой классовой диференциации фольклора. Вот как, например, в I выпуске Б. М. говорит об этом: «Традиционное произведение фольклора воскрешается к новой жизни только при наличии к нему интереса и его соответствия вкусам той социальной среды, где он бытует. Приводным ремнем традиционного фольклорного произведения к соответствующей социальной среде является творческая личность его исполнителя, выражающего в своей передаче (а следовательно и невольной переработке) произведения сознание и воззрения своей социальной среды» (стр. 14, I изд.). О том, что изучение «индивидуальных» стилей ведет к отчетливым представлениям о диференцированности стилей внутри самого крестьянства, совершенно определенно говорится во II выпуске «Русского фольклора»: «Сейчас мы убедились, как разнообразно сказочное творчество внутри крестьянства, как разнообразны и типы носителей крестьянской сказки «сказочники» и, что для нас, литературоведов, особенно важно, их художественные «стили». Но не ясно ли также, что за всеми на первый взгляд «индивидуальными» стилями воскресают перед нами истинная природа и характер этих стилей, лежащие в области классовой, социалльно-экономической расслоенности деревни, как дореволюционной, так и особенно четко послереволюционной. И тут-то накопление наблюдений фольклористов XX века и особенно наших дней над сказочниками создает базис для постановки важнейшей проблемы — социологизации «сказочного стиля в самом крестьянстве, с учетом социальной диференциации последнего» (II вып., стр. 112).

С обвинением в чрезмерном выдвигании Б. М. роли творческой личности Н. Ф. Бельчиков связал обвинение Б. М. в пользовании психологическим методом, в потебнианстве. Доказательством этому т. Бельчиков приводит несколько выдернутых из целостного контекста и обобщенных оппонентом цитат, вроде того, что фольклор (в книге говорится лишь об использовании былин) «является каждый раз живым художественно-творческим актом» (в. I, стр. 24), или что фольклор (в данном месте книги идет анализ пословицы «из песни слова не выкинешь») трактуется «как самоценность и самопроизвольность слова» (ссылка на стр. 17, а соответствия этой цитате в таком виде в книге нет). Приглашая читателей внимательно сверить все приводимые оппонентами цитаты с

точным текстом книги Б. М. и не отнимая времени сейчас на раскрытие неправильных цитаций, я должен указать, что все обвинения т. Бельчиковым Б. М. Соколова и попутно меня в психологизме и потебнианстве со значительно большим правом могли бы быть им адресованы не нам, а его союзнику по строгой критике — П. М. Соболеву, который в своей книге «Введение в изучение русской народной словесности» (Орехово-Зуево, 1922 г.) горячо ратовал за «историко-психологический метод»: «Уяснение психологии творчества, т. е. того процесса, в результате которого является поэтическое произведение, необходимо как один из главнейших элементов в методе изучения народной словесности... Основной метод исследования произведений народной словесности, как слагаемый из стремления уяснить психологию творчества и историческую основу того или иного памятника, можно назвать историко-психологическим» (стр. 65). Если брать далее наши работы, ни я, ни Б. М. никогда не формулировали так основной метод фольклористики. Это сочетание психологического и исторического методов, в свое время столь характерное для концепций С. К. Шамбинаго, многократно повторялось П. М. Соболевым, и до сих пор мы не слышали с его стороны самокритики. Так же именно он вообще был склонен к эклектическому соединению и «примирению» различных точек зрения при исследовании устной поэзии», оправдывая это тем, что «обилие составных элементов в произведениях народной словесности представляет простор для приложения к ним разных научных теорий» (там же). Нельзя же валить вину с больной головы на здоровую. Надо быть осмотрительнее и осторожнее.

За недостатком времени я не смогу ответить на другие менее значительные или частные обвинения, выдвигаемые тт. Бельчиковым и Соболевым. Укажу только, что очень многие из них построены на совершенно произвольном и неверном цитировании книги или на невнимательном чтении ее. Н. Ф. Бельчиков готов приписать Б. М. обвинение в том, «что тот будто бы склонен свести переработку сказителями традиционных текстов» к одному только «перевиранию сказителем». Между тем Б. М. всей своей книгой говорит именно против такого подхода и даже на стр. 18 отчетливо заявляет: «там, где неопытные в фольклоре люди готовы видеть только «мужицкое перевирание» художественного произведения, часто можно усмотреть (может быть, в значительной мере бессознательную) творческую переработку». Таких необоснованных больших и малых обвинений со стороны строгих критиков очень много. Ценность их видна из сделанных мною сопоставлений с точными высказываниями Б. М. Соколова. Желающие могут проверить, прочитав внимательно все вышедшие три выпуска «Русского фольклора».

Но, парируя разные, на мой взгляд, необоснованные нападки моих строгих оппонентов, призывая вместе с тем их к большей ответственности за свои слова, произносимые во время дискуссии, я, однако, не хотел бы быть понятым в том смысле, что не вижу и не хочу признавать за собою, за работами Б. М. и других работающих с нами фольклористов, в частности Кабинета фольклора ГАИСа, каких-либо методологических ошибок.

Несмотря на делавшиеся попытки и мои и Б. М. размежевания с пройденными этапами в развитии фольклористики, с наследством буржуазных старых школ, в частности исторической школы Вс. Миллера, необходима более решительная и планомерная критика ее положений и методов, слишком большое значение придававших внешним историческим моментам хронологическим, географическим и этническим. Необходимо более отчетливое воссоздание истории фольклора на основе сменявшихся социально-экономических формаций.

Необходима более четкая классификации фольклорных стилей и жанров по классовым признакам. При этом однако я не считаю правильным отрицать внутриклассовую диференциацию, вариацию поэтических классовых стилей в соответствии с различными профессиональными и иными группами населения (вне сомнения, например, что бурлачество имело свои специфические темы и стилевые особенности, ямщина — также, отдельные ремесленные группы и т. д.).

Признаю, что в книжке Б. М. Соколова допущены были некоторые нечеткие, даже неряшливые формулировки и определения (напр., на стр. 11 перечень фольклорных жанров). Однако мне кажется, что критики оказались слишком придирчивыми и зачастую, вместо уяснения основного смысла, просто цеплялись за слова, за редакционные и стилистические погрешности.

Считаю я методологически устаревшим порядок распределения в нашем курсе «Русский фольклор» фольклорного материала по условным жанрам (былины, сказки, пословицы и т. д.), а не по сменявшим друг друга классовым стилям. Но дело тут не в том, что будто бы мы с Б. М. не сознавали всей теоретической непрочности этого распределения, а в том, что вопросы о смене классовых стилей в фольклоре стали разрабатываться сравнительно недавно, результаты этой работы еще невелики и изложение по стилям могло бы привести в настоящий момент лишь к проблематической схематизации, и конкретных знаний о фольклоре наши читатели не получили бы. Тем не менее принципиально я считаю проблему построения истории фольклора по сменявшимся на основе социально-экономических формаций и отражавшим в себе социальную борьбу классовым стилям первоочередной задачей марксистско-ленинской фольклористики.

Считаю я также необходимым и более целостное раскрытие понятия о стиле в фольклоре и анализ его без механического разделения на содержание и форму, которое имело место в некоторых главах книги Б. М. (например, в главе о былинах).

Но, признавая имеющиеся методологические дефекты в фольклорных работах последнего времени, я не могу признать, чтобы мои оппоненты были правы в своем утверждении, что в советской фольклористике уж совершенно не наблюдалось никакого движения вперед. Так утверждать могут только те, кто во что бы то ни стало хочет в работе нас, фольклористов, видеть одно плохое, а не стремится к товарищеской совместной деятельности по преодолению ошибок.

Я заканчиваю свое слово опять призывом к марксистским теоретикам — литературоведам и методологам — к совместной работе с фольклористами для осуществления огромных теоретических, методологических и практических задач, стоящих перед фольклором и фольклористикой в реконструктивный период.

ХРОНИКА

Работа ГАИСа за время с марта по сентябрь 1931 года

Ликвидация ГАХН, Института литературы и языка РАНИМХИРК, Института археологии и искусствознания того же РАНИМХИРК, а также ГИМНа (Государственного института музыкальной науки) и образование на их базе Государственной академии искусствознания (ГАИС) было не механическим слиянием ряда учреждений, а образованием совершенно нового, целостного по своей структуре и по методологическим установкам института.

Основной задачей ГАИСа было обеспечить марксистско-ленинское руководство как Академией в целом, так и отдельными ее частями, чего, конечно, не было в ГАХН.

Это в значительной степени удалось сделать. Во главе Академии и отдельных секторов стоят научные работники-коммунисты. Произведен коренной пересмотр личного состава всех вошедших в состав ГАИСа учреждений. Были исключены все те, кто был неприемлем по своим методологическим установкам. Из числа беспартийных остались только те, кто своими специальными знаниями может быть полезен в области науки об искусстве, работая под коммунистическим идеологическим руководством.

В настоящее время партийно-комсомольский состав ГАИСа выражается в следующих цифрах:

Действительные члены . . . . Научные сотрудники I разряда	} чл. партии—21%, 36 чел.	1 чл. ВЛКСМ
Аспиранты . { члены партии	32%, 24	„
Аспиранты . { комсомольцы	23%, 18	„

В с е г о: членов ВКП (б) — 60; членов ВЛКСМ — 19.

За короткий срок существования (менее 1 года) ГАИС из своих молодых кадров уже подготовил замену ряда старых специалистов в своем составе.

Своей задачей ГАИС поставил разработку теоретических и практических проблем искусствознания на базе воинствующего марксизма-ленинизма. В этом отношении ГАИС проделал значительную работу: 1) проведена дискуссия по докладу Л. И. Аксельрод, с разоблачением ее антиленинских установок, невзирая на то, что Л. И. Аксельрод состоит действительным членом Академии; 2) проведен большой диспут о творческом методе театра имени В. Мейерхольда, давший несомненные теоретические результаты; 3) то же — о национальной форме и пролетарском содержании в театре; 4) чрезвычайно важный и большой диспут о теории ладового ритма (музыкальная теория проф. Яворского), вскрывший антимарксистские корни этой теории; 5) то же по тому же сектору о теории проф. Конюса (теория метротектонизма и т. д. и т. п.).

Далее — ГАИС повернул (хотя еще пока и в недостаточной степени) к обслуживанию художественной практики и художественного прои-

водства. Проведены и подготовлены к печати работы о рисунке в посуде и по строительству рабочих клубов, об оформлении рабочих жилищ Московской области. На эту тему проведен целый ряд докладов в ГИПРОГОРе, Стройобъединении и т. д. Проводится имеющая огромное практическое и научное значение, работа по изучению воздействия музыкальных полдников на психику и производительность труда рабочего. Изучение проводится на фабрике № 5 Москвошвея. Ведутся работы в области звукового кино, художественного радиовещания, изучение рабочего и колхозного фольклора и т. д. Часть работ подготовлена к печати.

Кабинет экспериментальной и прикладной фотографии концентрирует свое внимание на приложении искусства фотографии к потребностям искусствознания — в области документального репродуцирования памятников живописи, архитектуры, скульптуры и т. п., с максимальным выявлением фактуры, форм и т. д. Одновременно кабинетом проведена большая работа по созданию экспортной художественной фотографической рекламы. По приглашению Западно-торговой палаты, Кабинет участвовал в конкурсе экспортного плаката для рекламы продукции ОМПК, наряду с художниками, и получил первую премию. Сделано тридцать художественных альбомов для Всесоюзного пушного синдиката, характеризующих состояние нашего пушного производства. Альбомы делались для рекламы экспорта. Одновременно сделан короткометражный фильм для рекламы пушнины. В настоящее время Кабинет заканчивает работу по созданию художественного рекламного каталога нашей парфюмерной промышленности для вывоза. Кабинет составил иллюстративную часть для академического издания произведений Маяковского, а также для учебника по всеобщей истории пространственных искусств. Ведется работа по составлению методики и технологии агитационного плаката. Проведена большая работа по созданию центральной искусствоведческой фототеки — готовится к печати единый каталог. Кабинет имеет тесную связь с производственным сектором Союзкино по вопросам усовершенствования продукции советских фотоматериалов. Также проведен целый ряд экспертиз и консультаций по вопросам научной и прикладной фотографии и ряде НУЧей. Работы Кабинета премированы на целом ряде заграничных выставок.

В лаборатории экспериментального искусствознания ведется работа по плакату, по изучению массового театрального зрителя, по музыкальной акустике.

Сектор пространственных искусств готовит к печати сборник: «Посуда в общественном питании», «Художественное оформление массовой посуды», «Строительство рабочих жилищ». Представители сектора выезжали для практической работы на Дулевский фарфоровый завод, ставили доклады в Институте силикатов, а также делали основной доклад о текстильном рисунке на Всесоюзном совещании руководителей текстильной промышленности. Ставится работа по оформлению г. Москвы. Ведется работа по изучению искусства национальностей СССР.

Академия совместно с Антирелигиозным музеем организовала большую экспедицию в Китеж. Проведена большая работа, отмеченная Нижегородским краевым комитетом партии и краевым ОНО. Послана экспедиция на осеннюю путину в Мурманск — Архангельск по заданию Рыбаксоюза.

Проведена большая работа по применению искусства в деле технической пропаганды. Данная работа проведена в Парке культуры и отдыха. Совместно с Программно-методическим институтом и ВАРНИТСО выпускаются сборники по этой части работы.

Текущие политические события также находили свое отражение в работах Академии. Вечера, устраиваемые отделом популяризации, возбуждали большой интерес у рабочих, красноармейцев и студенчества специальных вузов и комвузов. Вечера были проведены на темы: о Гейне, Фурманове, Маяковском, Горьком, Демьяне Бедном, Мусоргском, о техни-

ке звукового кино, киноплаката и т. д. Были организованы выставки: «1905 г. в искусстве» (совместно с Музеем революции), «Ленин в изоискусстве» (совместно с Музеем изящных искусств), «Маяковский и кино», «Киноплакат» и отдельные выставки, характеризующие творчество Горького, Д. Бедного, Маяковского, Фурманова.

Сектор археологии изучает на конкретном археологическом материале возникновение и развитие феодальной, общественно-экономической формации. Проводились экспедиции: в Карелию, в Минусинский и Хакесский округа Западной Сибири, в Тургайскую степь, Алматийское Семиречье. Продолжалось исследование обнаруженного сотрудником Академии в прошлом году подводного города близ Херсонесского маяка. Данная экспедиция была снабжена специальной киноаппаратурой, была проведена засъемка подводного города на дне моря. Материалы засъемки имеют мировой интерес для научного исследования.

Большую работу проводит Академия в специальных отделах БСЭ и МСЭ. Писание основных руководящих статей по вопросам искусства (статьи «Искусство» и «Искусствознание») редакция БСЭ поручила ГАИСу.

Академия установила деловую связь с рядом художественных музеев и ведет в них работу по марксистской реэкспозиции и другим вопросам.

Все это говорит о резком переломе в работе тех учреждений, которые были объединены в составе ГАИСа как в смысле переключения всей работы на рельсы марксистско-ленинской методологии, так и в смысле тесной увязки ее с художественной политикой партии, художественной практикой и советской общественностью.

Большое внимание руководство уделяло вопросу по подготовке кадров. Была организована аспирантура, которая составилась из лучших кадров аспирантов, бывш. РАНИМХИРКа, ГИМНа, I МГУ, Моск. пед. института, ЦГРМ, музеев и ряда нац. институтов (Немецкий пед. институт, Еврейское отд. Киевской академии).

Партийно-комсомольская прослойка достигала к лету с. г. 55%, в то время как рабоче-крестьянское ядро равно 63%. Общее количество аспирантов — 75 человек.

В настоящее время имеются рабочие курсы по подготовке в аспиранты текущего набора. Партийно-комсомольское ядро на курсах достигает 96%.

Авторитет, который с большими трудностями завоевывает Академия, что особенно ярко выявилось в ходе последней кампании по набору аспирантов — в то время как по большинству институтов Наркомпроса кандидатуры в аспиранты далеки от тех контрольных заданий, которые поставили ЦК ВКП(б) и НКП в отношении соц.-парт. и нац. состава, в Академии контрольные цифры перевыполнены. Принято 45 человек, из них 82% партийцев и комсомольцев.

В начальной работе Академии имеются и многие недочеты. Главнейшие из них: отсутствие необходимой организационной плановой связи с ЛИЯ Комакадемии, РАППом, несмотря на персональное совместительство ряда руководящих работников из этих организаций. Недостаточная связь с Сектором искусств Наркомпроса. Все еще недостаточное по мнению директората качество работы на отдельных участках. Отсутствие единого плана производственной и общественной работы и т. д.

Однако проделанная работа уже дает право говорить, что молодое научно-исследовательское учреждение не только сложилось в определенную единицу, но начинает крепнуть и развиваться, доказав свою несомненную нужность на культурном фронте, на том участке, который пока еще наиболее слаб — фронте искусствознания и научной помощи нашей художественой практике.

Указатель статей, помещенных в журнале «Литература и марксизм» за 1931 г.

1. СТАТЬИ ПО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЮ.

2. СТАТЬИ ПО МЕТОДОЛОГИИ

3. СТАТЬИ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ И ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

4. СТАТЬИ ПО ЭСТЕТИКЕ, ПО ИСТОРИИ КРИТИКИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Асмус, В. — Эстетика Гегеля. Кн. V, стр. 32—51.

Бельчиков, Н. Ф. — Н. Успенский и классовая борьба в критике 60—70 гг., кн. VI, стр. 74—104.

Брейтбург, С. М. — Рогачевский (Некролог), кн. II, стр. 92—104.

Добрынин, М.К. — Большевистская критика 1905 года, кн. I, стр. 61—77.

Валерьян Полянский — Политический смысл литературно-критической деятельности Н. А. Добролюбова. Кн. V, стр. 3—31, кн. VI, стр. 3—46.

5. СТАТЬИ ПО ЯЗЫКОВЕДЕНИЮ.

Данилов, Г. К. — Черты речевого стиля рабочего, кн. I, стр. 101—107.

6. НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Седельников А. Д. — Плач-памфлет о крепостной доле (неизданная редакция), кн. IV, стр. 126—136.

Татаринова Н. — О Добролюбове (неизданные воспоминания), кн. II, стр. 105—125.

ХРОНИКА

Дискуссия об объективном критерии художественности, кн. III, стр. 3—27, кн. IV, стр. 3—42.

Дискуссия о значении фольклора и фольклористики в реконструктивный период, кн. V, стр. 91, кн. VI, стр. 105—123.

Н. К. Козьмин (Оценка его работы в связи с предстоящими выборами в члены Академии Наук СССР), кн. I, стр. 118-119.

Работа института ЛИЯ Комакадемии, кн. III, стр. 98—102.

Деятельность литературного сектора ГАИСа в 1931 г., кн. III, стр. 102—103.

Деятельность литературного сектора ГАИСа за январь-февраль 1931 г., кн. II, стр. 126—128.

Работа ГАИС за время с марта по сентябрь 1931 г., кн. VI, стр. 124—126.

Редакционная коллегия: П. И. Лебедев-Полянский, И. М. Нусинов и С. С. Динамов.
Ответственный редактор П. И. Лебедев-Полянский.

Цена 1 руб.



РЫ

иС)

ІОВ

те-
уб-

ры,
ле-

ур-

1 р.

; У
сто-

)-49